

Г.В.Акопов

СОЗНАНИЕ И ВРЕМЯ

*Апология
ментальности
и поэтического сознания
(Издание 2-е исправленное и дополненное)*

Самара
2013

УДК 159.9

ББК 88

А 40

Акопов Г.В.

Сознание и время: апология ментальности и поэтического сознания (*Издание 2-е исправленное и дополненное*). – Самара: Издательство ВЕК#21, 2013. – 175 с.

В книге очерков представлен опыт систематизации различных представлений о России, личности, свободе, культуре, поэзии в контексте исторической психологии российского сознания. Рассматриваются основные типы *осознания* актуальной и исторической реальности (формально-логический, диалектический и субъективный). Раскрываются структурно-уровневые пласты темпорально связанного – разделённого поэтического сознания. Обсуждается тема «новой» глобализации и трансформации сознания человека в современном обществе.

© Г.В.Акопов, 2013

© Издательство ВЕК#21

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	4
I. Российская ментальность: историко-психологические очерки.....	6
Красота, здоровье, лень, ожидание... Временная специфика характерологических впечатлений иностранцев о России.....	6
Историко-психологическое время.....	13
Сознание и воля в «исканиях счастья».....	21
Народная культура в контексте психологии и психотерапии.....	52
Духовность и культура.....	61
II. Поэтическое сознание.....	64
А.С. Пушкин: три измерения гения.....	64
Неизмеримость гения: пространство, время и духовный мир в поэзии М.Ю. Лермонтова.....	83
Поэтический камертон времени: пространство, время и ментальный мир в поэзии Дж.Г. Байрона.....	101
III. Глобализация как фактор трансформации сознания человека в современном обществе.....	109
Литература.....	116
Приложения. Избранная лирика.....	123
А. С. Пушкин.....	123
М. Ю. Лермонтов.....	141
Дж. Г. Байрон.....	158

ПРЕДИСЛОВИЕ

Неизменно воспроизводимая традиция и специфика взаимоотношений «Восток-Запад, Запад-Восток» на протяжении длительной истории, с учетом срединного положения России, периодически создает весьма значительные сложности, с одной стороны, во взаимоотношениях России с различными культурами внешнего окружения, с другой – сложности организации внутренней жизни России, в обеспечении ее целостности, единства этно- и социокультурной жизни в нашем государстве.

Целые века политических, конфессиональных, художественно-публицистических, научных дискуссий о собственном пути России не могли исчерпать общественного интереса к решению данной проблемы. На каждом кризисном этапе российской истории содержание «русской идеи» претерпевало и претерпевает общественную и научную ревизию. Процессы новейшей истории и фундаментального реформирования России обострили общественную значимость социальной полемики, возобновили необходимость ее прояснения на фоне усложняющихся связей России со «старыми» и новыми зарубежными странами, на фоне стремления прямых заимствований достижений Западной культуры не всегда с учетом их исторического опыта и ностальгического поиска позитивных тенденций развития российского общества в прошлом.

Насыщенность и динамика современной жизни требуют новых форм понимания человеком своего бытия, формирования релевантной системы смыслов. Наличие адекватной ориентировочной основы в общественной жизни и соответствующая активность населения создают необходимые условия для социальной стабильности. Если некоторое время назад в условиях тоталитарной модели общества эти ориентации носили тотальный, всеобщий характер, то к настоящему времени неизбежной является их значительная, социально-групповая и субъективно-личностная дифференцированность. Эта дифференцированность была обозначена в различных дискурсах – научном и поэтиче-

ском, на разных этапах истории России. В главах настоящей книги представлен опыт систематизации различных представлений о России посредством контаминации образов, формируемых внутри и вне России.

Тезис «Время – действующее лицо», можно интерпретировать в двух планах: синхроническом, т.е. связанном с изменившимися обстоятельствами, актуальными требованиями новой действительности, другими императивами современной жизни; и ретроспективном, связанном с усмотрением в прошлом не «обнажавшихся» ранее, иных интенциональных и событийных пластов тогдашней реальности, прорастающих и вызревающих в новом времени и открывающих сознанию новые смыслы прошлой жизни, имплицитно связанные или резонансные с новым сознанием.

В этом процессе, который можно назвать историческим созерцанием, улавливаются доминирующие типы рациональности (логики, аргументации), их переходы и трансформации – от формально-логической к диалектической, либо к субъективной логике и наоборот. Философский и лингвистический аспекты проблемы обстоятельно проработаны в фундаментальной работе Г.Брутяна по теории аргументации. Если первые два типа рациональности отчетливо проявлены и отчасти артикулированы в естественно-научной (формальная логика) и философской (диалектическая логика) парадигмах, то субъективная логика несомненно является прибежищем, так называемой, народной психологии и социологии (обыденное сознание, социальные представления и др.), а также многочисленных явлений искусства. В этом контексте можно объяснить заявленную тему «Сознание и Время» и подбор материалов, наиболее ярко представляющих взаимопереходы субъективного, формального и диалектического в содержании менталитетных описаний и поэтического сознания.

I. РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Красота, здоровье, лень, ожидание...

Временная специфика характерологических впечатлений иностранцев о России

О русских пишут весьма много, что в настоящее время уже не подходит, без сомнения, вследствие общих перемен во временах, управлении и людях.

А.Олеарий

Весь мир не спрячешь, близкое и далёкое друг друга выявляют, прошлое и настоящее ясно различаются.

Чаньское изречение

В сборниках «Россия глазами иностранцев» представлены свидетельства и наблюдения А. Контарини, С. Герберштейна, П.С. Палласа, А. Олеария и других иностранцев – очевидцев различных сцен и событий российской жизни XV – XVII вв. В традиционной исторической науке эти описания хорошо освоены и концептуально адаптированы. Однако нам неизвестны обзоры другого плана, в которых рассказы вышеназванных и других авторов подвергались бы анализу с точки зрения истории ментальностей, исторической антропологии или исторической психологии.

Не претендуя на полное и систематическое решение этой проблемы, рассмотрим некоторые психологические аспекты исторических свидетельств, учитывая, что «видеть Россию непредвзято удастся не каждому «постороннему наблюдателю» Запада» (Волков Ю.Г., 2013).

Тексты названных сборников содержат качественно различные типы информации, позволяющие осуществлять психо-

логическую реконструкцию свойств характера исторических лиц или групп людей. Это, в частности, прямые оценки или непосредственные суждения иностранцев о характере русских. Их содержание, конечно, может быть в значительной мере обусловлено субъективными факторами. Однако сходство характеристик, зафиксированных разными авторами в разное время, может свидетельствовать о психологической идентичности объектов наблюдений. Так, А. Контарини (1476 г., Италия) отмечает, что «русские очень красивы, как мужчины, так и женщины, но вообще это народ грубый» (с. 23). Значительно позже Ж. Маржерет (1600 г., Франция) констатирует, что русские – «грубый и варварский народ, вдобавок управляемый государем-тираном» (с. 237). Эта характеристика (грубость) более в свидетельствах не встречается. Возможно, ее инверсированным вариантом являются описания физического здоровья, силы, выносливости: «Московиты весьма сильны руками и мышцами, побеждают, утомив под конец исключительно своею сосредоточенностью и ловкостью» (С. Герберштейн) (с. 76); «Мужчины большею частью рослые, толстые и крепкие люди. Они очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются большим почетом. Вообще народ здоровый и долговечный... Недомогает редко» (А. Олеарий) (с. 235, 343); «Хотя москвитяне очень крепкого сложения, но к холоду они чувствительнее, чем поляки» (де ла Невилль) (с. 518).

Обостренный переездом взгляд иностранцев напоминает детское восприятие, фиксируя внимание на особенностях внешнего облика. Женщины красиво сложены, нежны лицом и телом, но грубо и заметно румянятся и белятся, отмечает А. Олеарий. Весьма пристрастный де ла Невилль возмущен безрассудством русских женщин, которые красят лицо, бреют брови, места коих раскрашивают (с. 335, 518).

В описании образа жизни русских иностранцами часто фиксируется не деловая, а бытовая регламентация активности русских: «Их жизнь протекает следующим образом: утром они

стоят на базарах примерно до полудня, потом отправляются в таверны есть и пить; после этого времени уже невозможно привлечь их к какому-либо делу» (А. Контарини) (с. 23); «Господа, пребывая в четырех стенах своих домов, обыкновенно сидят и редко, а, пожалуй, и никогда не занимаются чем-нибудь, прохаживаясь. Они сильно удивлялись, когда видели, что мы прохаживаемся в наших гостиницах и на прогулках часто занимаемся делами» (С. Герберштейн) (с. 78). Русские люди высокого и низкого звания привыкли отдыхать и спать после еды в полдень. На этом основании, как отмечает А. Олеарий, русские и заметили, что Лжедмитрий не русский по рождению, так как не спал в полдень. Он также не походил на русского по такому признаку внешней регламентации жизни, как хождение в баню (с. 344). А. Олеарий пишет, что русские придают большое значение омовению. Они в состоянии переносить сильный жар в бане, затем оканиваются холодной водой (зимой валяются в снегу), поэтому, как финны, являются сильными и выносливыми, хорошо переносящими холод и жару (с. 345).

Иностранцы обращают внимание на плохое качество жизни: «Дома московитян не лучше свиных хлевов во Франции и в Германии» (де ла Невилль) (с. 520). Дорогие дворцы вельмож и купцов построены в течение последних 30 лет, а, в общем, русские живут плохо, и у них немного денег уходит на хозяйство (А. Олеарий) (с. 339). И дело не только в деньгах, но и в стремлении обходиться в жизни без лишних трудов и забот. Так, С. Герберштейн замечает, что «хотя лошадки их очень малы и уход за ними гораздо более небрежен, чем у нас, все же они выносят столь усиленные труды» (с. 79). А. Олеарий пишет, что ни в одном доме, ни у богатых, ни у бедных людей, не замечено украшения в виде расставленной посуды, но везде лишь голые стены, которые у знатных завешены циновками и заставлены иконами. Он же отмечает непривычность русских к нежным кушаньям и лакомствам.

Склонностью к обильной еде москвитян де ла Невилль объясняет вынужденность трехчасового сна после обеда и необходимость ложиться спать сразу после ужина (зато они встают весьма рано). Даже в походах каждый солдат, не исключая стражи, непременно спит после обеда (с. 520). Тучность, как естественное следствие обильной еды, сна и недостатка движений, вызывает особое отношение окружающих. Ж. Маржерет отмечает, что «все ездят летом верхом, а зимой в санях, так что не производят никакого движения, что делает их жирными и тучными, но они даже почитают наиболее брюхастых, называя их «дородный человек», что значит «честный человек» (с. 242). Он же (Ж. Маржерет) восклицает: «Эта нация самая недоверчивая и подозрительная в мире!» (с. 239).

К редким нравственным оценкам можно отнести упреки С. Герберштейна в том, что русские торгуют с великими обманами и коварством. Одновременно С. Герберштейн замечает, что всякое правосудие в России продажно, причем почти открыто. Причиной столь сильного корыстолюбия и бесчестности он предполагает бедность (с. 76).

Иностранцы пишут и о мятежности русского характера. А. Олеарий, описывая события расправы и самосуда над несправедливым и своекорыстным чиновником, проявляет понимание и уважение к мятежникам: «Вот, следовательно, каков при всем рабстве нрав русских, когда их сильно притесняют» (с. 388). Здесь, как и в других характерологических проявлениях русских, обнаруживается отсутствие характерной для Западной Европы традиции принятия условности (см., в частности, описания карнавальных и театрализованных действий с сжиганием соломенных чучел, разыгрыванием мятежных сцен и др. в средневековой Франции, Германии). В этом плане можно также интерпретировать замечание А. Олеария о том, что «хотя греховная Венерина игра у русских очень распространена, тем не менее, у них не устраиваются публичные дома с блудницами» (с. 343).

Произвольное моделирование (удвоение) действительности может осуществляться в наглядно-действенной форме, т.е. в форме традиционных или синхронно-событийно творимых ритуалов; словесно-образной – нарративных построениях (сказания, предания, эпосы и др.) и, наконец, в символической форме (вещественные, событийные или письменные знаки). Все три формы присутствуют в любой культуре, однако в диахронии и по соотношению преобладающих форм этносы могут существенно отличаться.

Принятие условности, т.е. опосредствование кризисных (угнетающих) событий в тех или иных формах удвоения реальности, в массовом проявлении служит стабилизирующим моментом для общества (государства), противодействующим разрушительному конфликту, распаду, хаосу, дезориентированности и безвременью. Неотягощенность этноса культурными наслоениями или сложными условностями и ступенями опосредования значительно снижает «иммунитет» нации. Этот контекст «победы» московитских («плохих») нравов над провинциальными находит подтверждение в описаниях С. Герберштейна. Отмечая, что народ в Новгороде был очень обходительным и честным, но ныне является весьма испорченным, он поясняет: «Вне сомнения, это произошло от Московской заразы, которую туда ввезли с собою заезжие московиты» (с. 105). Изменения в характере псковитян (почти во всех делах были введены гораздо более порочные обычаи московитов, в то время как ранее псковитяне при всяких сделках отличались такою честностью, искренностью и простодушием, что не прибегали ни к какому многословию для обмана покупателя) С. Герберштейн объясняет ограничением свобод жителей Пскова по воле Ивана Васильевича (с. 106).

Не затрагивая торговлю, А. Олеарий находит много положительного в характере московитов, отмечая, в частности, их восприимчивость, умение подражать тому, что они видят у немцев. Он пишет: «У них нет недостатка в хороших головах

для учения. Между ними встречаются люди весьма талантливые, одаренные хорошим разумом и памятью» (с. 404). У А. Олеария мы находим важную характеристику веротерпимости русских, указание на их способность вести сношения с представителями всех наций и религий (с. 410).

Прямые высказывания, оценки характера русских составляют очень небольшую часть описаний впечатлений иностранцев, побывавших в России в XV—XVII вв. В заметках К. де Бруина, герцога Лирийского, К.-К. Рюльера, Л.Ф. Сегюра и П.С. Палласа, путешествия которых относятся к XVIII в., такие описания практически отсутствуют. Это загадочное несоответствие можно объяснить по-разному: составом авторов, спецификой повествования путешественников-иностранцев, ментальным своеобразием общественного сознания XVIII в. или утверждающимися канонами философского и естественнонаучного обоснования знания.

Иностранцы, путевые заметки, рассказы и очерки которых хронологически объединены (XV—XVII вв.), не выступают в роли исследователей или тем более специалистов, в то время как К. де Бруин – этнограф, П.С. Паллас – ученый. Поэтому взгляд их сконцентрирован на избранных явлениях российской действительности. Конечно, без исследовательской направленности не может быть вскрыта глубокая картина явления. Но в «простых» наблюдениях иная ценность: они фиксируют яркое и необычное, непохожее на привычные явления исходной для наблюдателей культуры.

Косвенные (непрямые) характеристики могут извлекаться из любых сегментов описания в зависимости от того или иного принципа, концептуальной схемы анализа, основывающихся на определенных предположениях. Так, сравнение однотипных ситуаций, в которых оказывается путешественник в разных странах, позволяет выявить специфику национального характера, но только в том случае, если известна беспристрастность наблюдателя и наблюдаемое событие является типичным, а не

чрезвычайным (ср. подробное, эмоциональное описание приема, оказанного А. Контарини в Троках у польского короля и – уже без восторженных нот приема у Великого Князя в России).

Для психологической реконструкции характера наблюдаемых иностранцами людей особенно важны проявления полного или частичного непонимания тех или иных ситуаций, событий, действий, отношений и т.д. Так, в свидетельствах С. Герберштейна высказывается недоумение и значительное недовольство процедурой искусственного усложнения порядка проезда посла в город и длительным ожиданием (по нескольку месяцев) путешественников у границы для въезда в Россию. Проезд через царство иностранцы осуществляют не по своему усмотрению, а с остановками и задержками, осложняющими жизнь приезжающих послов (длительные ожидания в неподобающих условиях) (с. 128–129). Загадка длительного ожидания для проезда иностранных послов по России и не менее длительного ожидания аудиенции у Высшего лица может решаться в разных схемах причинных связей: отношения между странами и правителями, искусственное самовозвышение правителя, козни его окружения и т.д. Однако типичность самого явления ожидания требует иных объяснений. На наш взгляд, причина кроется в различной временной напряженности и насыщенности жизни и ее событий в России и в тех странах, представители которых приезжали в Россию.

Историко-психологическое время¹

Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданиями перемен своей судьбы; бывают времена, когда только воспоминание о прошлом утешает живущее поколение, и бывают счастливые времена, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец.

А. Платонов «Афродита»

Человечество проделало длинный путь в своем развитии, прежде чем время стало неотъемлемой характеристикой сознательной жизни людей. И сегодня нам трудно представить, что когда-то было по-другому. Событийная «плотность» и динамика жизни неизмеримо возросли и временное измерение все более трансформирует пространственное и психологическое измерения человека.

История человеческого познания мира показывает, что представление людей о времени не является чем-то раз и навсегда данным. Это представление не только становящееся и переходящее, но и теснейшим образом связанное со становлением общих условий и форм человеческой жизнедеятельности. Поэтому, процесс постижения временной реальности и наполнения ее исторически определяющим содержанием, оказывается далеко не однозначным для различных исторических эпох и различных культур, не только в широком социально-историческом плане, но и в более узком – личном.

Представление о времени – неотъемлемый компонент представления человека и всего общества о мире, миропонимания в целом. В ходе исторического процесса оно изменяется, обрастает целым комплексом определяющих понятий, образов и становится важнейшим моментом мировоззрения эпохи, ее

¹ Раздел подготовлен при участии Т.Н. Подьячевой.

культуры. В разных социальных общностях, в различных исторических условиях меняется не только общее представление о времени, но и ощущение его длительности, направленности и характера течения времени, отношение к настоящему, прошлому и будущему. Каждой культуре присущ особый способ переживания, осмысления и осознания времени. А.Я. Гуревич справедливо относит время к основным универсальным категориям культуры, из которых она выстраивает свою модель мира (Гуревич, 1968).

Французский психолог Поль Жане одним из первых обратил внимание на то, что время – это продукт сознания, в восприятии которого основную роль играет социальное – нравы, обычаи, ритуалы, являющиеся созданием человеческого духа. Таким образом, время, казалось бы существующее объективно и выступающее в качестве общей характеристики мира самого по себе, оказывается существенно зависимым от особенностей мышления и жизнедеятельности общества в конкретно-исторический период.

Человек, изолированный от общества, возможно, мог бы обходиться без времени, не обращая на него внимания и не измеряя его. Но жизнь среди людей требует от человека координации своих действий с действиями окружающих, для чего необходимо считаться со временем других людей и хорошо знать все условности, связанные с коллективным представлением о времени данного общества. Время определенным образом согласуется с астрономическими процессами, но каждое общество накладывает на эти общие представления свое восприятие, связанное и с особенностями жизни отдельных людей, и общества в целом. Поэтому через восприятие, понимание, осознание времени просматривается мироощущение, ментальность той или иной эпохи.

Стремление человека постичь время привело к тому, что в процессе развития человеческой мысли все больше внимания уделялось этому явлению. И чем пристальнее всматривались в

него люди, тем больше убеждались в его неоднозначности и многомерности. Понимание того, что человек живет в разных временных измерениях, привело к существенной дифференциации понятия. Выделяют несколько разновидностей времени, с которыми, так или иначе, сталкивается человек. При этом различные временные измерения не автономны, а взаимосвязаны.

Как к любому физическому объекту, к человеку применимы эталоны и единицы физического времени, в которых измеряется хронологический возраст человека. Физическое время тесно связано с астрономическим временем, основанным на наблюдении за периодически повторяющимися процессами одинаковой длительности: вращение Земли вокруг Солнца или вокруг своей оси и другие астрономические явления.

Растения, животные и человек, как составляющие живой природы, выработали в результате эволюционного развития способность весьма тонко и точно измерять и координировать биологические процессы. Все живые организмы имеют как бы встроенные внутрь «биологические часы», основанные на периодически возникающей и затухающей активности клеток и отдельных органов. С их помощью организм приспосабливается к внешней среде, к ее ритмам, улавливая даже малые флуктуации геофизических факторов. В процессе этого приспособления развивается чувство времени, в основе которого лежит примерно тот же механизм, что и в основе образования понятия времени, — это сравнение, сопоставление различных процессов: одного, функционирующего как эталон, и другого, сравниваемого с этим эталоном. Здесь также можно проследить взаимосвязь биологического времени с физическим и астрономическим временем.

В обществе существуют свои особые временные отношения; как член общества, человек живет в социальном времени, времени человеческой деятельности. Это время выступает необходимым условием человеческой деятельности, ее структурной расчлененности и исторического развития. Социальное время является мерой изменчивости общественных процессов, истори-

чески возникающих преобразований в жизни людей. Но и оно не может не считаться с другими временными измерениями. Люди согласовывают свою деятельность с биологическими часами. Социальные ритмы, как и биологические, зависят от физических и астрономических циклов.

Время лежит в основе исторического процесса, который сам по себе является «временным явлением» (Янагида, 1969, с. 148). Поэтому говорят об историческом времени, которое воспринимается как непрерывный хронологический ряд событий в жизнедеятельности общества и человечества в целом. Исторические циклы и периоды имеют свое собственное время. А.Я. Гуревич разбивает историческое время на несколько хронологических рядов (время экономического цикла, время демографического цикла и т.д.), в каждом из которых существует особая длительность, присущая только данному уровню. Временные потоки различных уровней соединены в синхронную картину, в общий поток исторического развития, в котором они взаимосвязаны (К. Ясперс, 1994).

Время, переживаемое человеком, называют психологическим временем. А.А. Кроник и Е.И. Головаха выделяют три концепции психологического времени, каждая из которых по своему соотносит прошлое, настоящее и будущее (Кроник, Головаха, 1988). Квантовая концепция стремится определить четкие границы настоящего. Для концепции событий важнее насыщенность психологического времени событиями. Согласно причинно-целевой концепции, осмысляя время, человек создает целостную картину своей жизни; психологическое время формируется на основе переживания личностью взаимосвязанных событий прошлого, настоящего и будущего.

Понятие историко-психологического времени можно рассматривать в его объективном и субъективном (психологическом) измерении. В первом случае можно говорить о событийной насыщенности повседневной жизни человека в той или иной социальной группе: рождение, учение (обучение), инициа-

ция, виды социальной и индивидуальной деятельности, обретение семейного, классового, социального и других статусов. Отношение количества разнородных событий к общему времени жизни определяет скорость течения времени в объективном его измерении. Субъективная сторона течения времени одномерна и не связана (практически) с продолжительностью жизни. Она определяется количеством психологически значимых событий в социально-фиксированную единицу времени. Современные социально-фиксированные единицы времени неодинаковы в столице и в провинциальном городе, в областном и районном центрах и т.д.

Соотношение между объективной и субъективной составляющими историко-психологического времени не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд. Оценка времени при исполнении ритуалов, в процессе религиозных отправлений, в медитативных состояниях и т.д., может закрепляться в повседневной жизни, снижая остроту неопределенности, вызванной событийным многообразием, и, тем самым, повышая адаптивные возможности человека. Общая закономерность, определяющая перестройку переживания историко-психологического времени у большего или меньшего количества людей, связана с остротой переживаемого в обществе кризиса и количеством включенных в него людей. В качестве иллюстраций можно отметить массовое распространение Эсаленовских групп в период послевоенной технократической революции в США или групп СПТ в России перестроечного времени.

Таким образом, историко-психологическое время – важная переменная научной истории ментальностей и исторической антропологии. В этой концептуальной схеме представляет интерес различие в восприятии составляющих историко-психологического времени. Такое различие могут показать, в частности, прямые и косвенные характеристики времени, встречающиеся в описаниях людей, по собственному желанию или по воле случая вырванных из привычной среды в другие пределы

своей страны или в чужие страны. Логика анализа в этих случаях может быть информационно инверсированной, т.е. нести информацию о ментальных единицах как наблюдаемых, так и всей общности, представителем которой является свидетель. Речь идет о пространственно-временной (хронотопической) связности сознания. Различные типы ментальности - конфессиональные, этнические, этно-территориальные, территориальные, социально-групповые и т.д. несут в себе и соответствующее, связанное с фиксированным типом историко-психологическое время. Неотрывный от ментальности тип времени актуализируется и реализуются в соответствующем образе жизни (поведении, общении), явно или неявно сохраняющем представления, ценности и идеалы прошлого и атрибутирующем неизменность сознаваемой линии транспективы (взаимосвязанные части прошлого, настоящего и антиципируемого будущего).

Когнитивный (размышляющий, рефлексивный, замечающий ментальные различия) наблюдатель (свидетель) инверсирует (обращает) фиксируемые отличия в собственное ментальное пространство, не всегда осознавая иное темпоральное бытие в собственном текущем времени, приписываемом объектам (людям, событиям, условиям и т.д.) наблюдения. Перевод пространства ментальных различий (этнических, конфессиональных, социальных, профессиональных и др.) в пространство темпоральных (временных) различий основан на положении о хронотопической связности социально-экономических и культурно-психологических явлений: историческое время «генетически впечатано» в ментальность и его специфика (типология) достаточно тесно сопряжена с типом ментальности, включая определённые сочетания. Трансформирующаяся ментальность, в свою очередь, более или менее существенно корректирует своё историческое прошлое. Но и прошлое, актуализируемое и возвращаемое сознанием отдельных лиц или групп людей, может вновь реализовываться в настоящем, т.е. в другом времени. Любопытно в этом плане соотнести сознание (Идея) и поступки

Подростка в романе Достоевского и Дон Кихота в произведении Сервантеса. В первом случае, это попытка трансэволюции или прыжка из близкого (феодалного) прошлого непосредственно в желаемое и конструируемое сознанием буржуазное будущее. Во втором – воодушевление прошлым (Рыцарство), ретрансформация сознания, действий и поступков в новом времени. В обоих случаях идентифицируется ментальность (образ мыслей, тип сознания – рыцарский, феодальный, буржуазный), инвертирующая, т.е. переворачивающая, время: настоящее в прошлое или – будущее в настоящее, переводя сознание из состояния внешней несвободы в состояние внутренней свободы. В соответствии с двухфакторной моделью сознания (Акопов, 2007), социальные контакты, коммуникация и общение в этих случаях претерпевают существенные изменения, что замечательно показано в обоих романах. Таким образом, сознание (ментальность) и время тесно взаимосвязаны хронологически, вместе с тем сознание не только идейно, но и действенно трансформирует, актуализирует и реализует прошлое, а также ускоряет (не всегда адекватно) приближение будущего, программирует и осуществляет будущее. Механизм инверсированного анализа может быть определен наложением актуальной (сегодня) сцены на отдаленное прошлое. Предварительные изыскания могут выглядеть следующим образом. Случайный или неслучайный представитель достаточно изученной общности (этноса, конфессии) на определенное время и в определенной событийной последовательности, которые задаются условиями психологической реконструкции, помещается в инородную среду, отличную от исходной для испытуемого по территориальным, социальным, культурным или другим признакам. Далее соотносятся ментальные корреляты субъекта(ов) и воспринимаемых объектов, а также описания, данные субъектами. Метод переноса актуализированных социоперцептивных связей (очевидец событий и людей – события и люди) в историческое прошлое представляется одним из пер-

спективных вариантов схемы инверсирования ментальных хромотопических единиц.

Принятие условности – одно из фундаментальных историко-психологических свойств мышления человека. В культурно-исторической психологии, начиная с работ Л.С.Выготского и А.Р.Лурии, отчетливо показана специфика мышления (сознания) людей различных исторических эпох и, в синхронии, различных культурно-специфичных сообществ (Коул, Коул и Скрибиер, Мацумото и др.). Выражая действительность в опосредованном виде в формах определенных действий, образов или знаков, принятие условности историческим лицом или группой позволяет избегать экстремальных, разрушительных выходов из критической ситуации (ср.: групповая голодовка или марш пустых кастрюль).

Непринятие условности основано на раздельном существовании в общественном сознании тенденций объединения противоположных сторон действительности в неосознаваемом ментальном поле дискурсов реальной конкретной (бытовой) логики и идеальной проективной (мифологической) логики действий, суждений, отношений. Само наличие или отсутствие хотя бы одной линии объединения дискурсов создает совершенно разные ментальные состояния (ср.: Россия до и после Кровавого воскресенья 9 января 1905 г.), отражающие разрыв историко-психологического времени или начало нового психологического времени. Нечто похожее, но совершенно по иным причинам (вытеснение рационального знания личностным, психологическим), намечается в современном Интернет-сознании.

Сознание и воля в «исканиях счастья»

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Ф.И. Тютчев

Какова связь (есть ли?) между величием нашего созерцания и ничтожеством нашего действия.

Д.С. Мережковский

Особенная идея как способ разрешения проблемы самовыражения индивидуального бытия характеризует поисковую активность человеческой мысли в различных измерениях культуры. В силу ряда причин этот поиск приобрел особое значение в российском общественном сознании. Стали общим местом ссылки на особый путь России, «русскую идею», загадку русской души и т.д. Принимая это устойчивое явление общественной жизни и российского самосознания как форму национального самоутверждения, следует отметить, что оно наиболее ярко проявляется в периоды кризисов.

В силу естественных законов общения «механизмы» общественной жизни со временем освящаются идеологической схемой. Привычность этих схем нарушается во времена «смуты», и тогда обнажается вся картина мнений, обостряется противостояние взглядов, кристаллизуются ведущие идеи. Количественный расклад сторонников той или иной концепции часто оказывается решающим для исхода политической коллизии.

В накопленном океане суждений, прогнозов, догадок и озарений отсутствует, насколько нам известно, попытка осмыслить всю сумму мнений и взглядов с точки зрения приведения их в некую систему, а не только объяснения с позиций политических, экономических или других теорий. Если в содержатель-

но-философском плане прав В.И. Молчанов, утверждая, что «свобода мысли подменяется неявно свободой действия, свободой выбора» (Молчанов, 2007, с. 272), то в содержательно-политическом (экономическом) плане, скорее наоборот, что характерно и для современной ситуации в России. Не претендуя на полноту исследования и окончательность выводов, мы соотнесли не потерявшие актуальность высказывания известных авторов с определенной схемой жизнедеятельности социальных систем.

Целеполагание в исканиях счастья. Анализ целевых установок в суждениях о народе, общественной жизни, всеобщем благе и т.д. осложняется переплетением личных оценок, желаний, решений, обусловленных сугубо индивидуальным опытом соответствующих изысканий, и достаточно объективных знаний, отражающих реальные социальные процессы. Эти две позиции не всегда вполне осознаются. В частности, не всегда различаются вопросы: *1. Чего я хочу для моего народа? 2. Что я считаю необходимым для блага моего народа? 3. Чего желает мой народ? 4. Что в действительности необходимо моему народу?*

Очевидно, что раздел между первой и второй парой вопросов – это раздел субъективного (гуманитарного) и объективного (традиционно научного) анализа (знания). В первом случае движение мысли осуществляется силой пристрастности, любви, ненависти, обаяния и т.д. Здесь, в частности, невозможно учесть неоднородность общества, специфику различных социальных групп и др. Во втором случае влияние личных установок частично нейтрализуется избранным методом анализа. Здесь также возможен раздельный анализ на уровне индивида (отдельного субъекта) и группы (достаточно большой общности).

Смысл существования (цель бытия на индивидуальном уровне) как составляющая общественных исканий отражен преимущественно в художественной литературе. Обратимся для

иллюстрации к трем небольшим произведениям выдающихся мастеров слова.

В авторском самоисследовании проблемы смысла жизни Л.Н. Толстой, завершая свою «Исповедь», находит оригинальное решение вопроса. Любопытно, что решение это пришло во сне. Исходное состояние во сне – «ни хорошо, ни дурно... Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне...» (Толстой, «Исповедь», 1985, с. 95). Затем поток мыслей перемещается от анализа телесных ощущений к внешним опорам. Желая укрепить их, он оказывается в еще менее устойчивом положении, и дальнейшие движения лишь усугубляют это положение. Оказавшись в критическом, подвешенном состоянии, «тут только я спрашиваю себя то, чего мне прежде и не приходило в голову... где я и на чем я лежу?» (там же). Открывавшаяся внезапно бездонная пропасть вселяет ужас. Страшно смотреть, «но не смотреть еще хуже» (там же). Еще один скачок рефлексии: «Не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня: бесконечность вверх притягивает и утверждает меня» (там же).

Это же средство – «спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх» (там же), – как известно, завершило один из этапов духовных исканий А. Болконского в эпопее Л. Толстого «Война и мир». Не ограничиваясь ощущением вновь обретенной устойчивости, автор в третьем рефлексивном потоке мысли постигает одновременно простой, естественный и «очень... хитрый» (там же, с. 96) механизм этой устойчивости. Состояние ясности, радости и покоя предшествует пробуждению. Можно предположить, что Л.Н. Толстой видит решение тайны индивидуального бытия в рефлексивном процессе уяснения механизма взаимодействия человека со своим прошлым и будущим, т.е. посредством включения и расширения пределов самосознания.

Такое гармоничное решение проблемы смысла жизни, очевидно, отражает гармоничность российского сознания в его художественном выражении в эпоху наивысшего расцвета русской литературы.

Иная плоскость решения обозначена в пьесе М. Горького «На дне». Здесь выражена весьма интересная и вполне конкретная целевая установка. Поясняя, «зачем живут люди?», старик, Лука дает простой ответ, связывающий настоящее с будущим: «А – для лучшего люди-то живут, милачок!» И далее поясняет линию движения поколений на примере: «Вот, скажем, живут столяры и все – хлам – народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, какого и не видала земля, – всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что для лучшего! По сто лет... а может, и больше – для лучшего человека живут!» (Горький, «На дне», 1978, с. 339–340).

Пьеса написана в начале XX века. В массовой нищете сложно усмотреть индивидуальность. Субъективно, личностно она всегда присутствует, возможно, как потребность. Жить для будущего, для чьей-то славы?! Мало утешает и призыв старца уважать всякого человека: – «Неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?» (там же, с. 340). В итоге же, сочтя свою жизнь бесполезной, «испортив песню», кончает жизнь самоубийством Актер.

Это соблазнительно простое и тотальное решение проблемы смысла жизни доведено до абсурда в короткой повести А. Платонова «Фро...». Само имя героини повести выглядит как символ «кусочного» счастья, и мысль автора, абсолютно недоступная восприятию старого трудяги, отца Фроси, и слабо рефлектируемая героиней в хроническом ощущении неполноты и недоумения, вновь возвращают нас к идее Л. Толстого. Причем временная перспектива здесь уже не прогресс, а совершившийся

акт: отец Фроси присутствует в настоящем как прошлое; муж отсутствует, находясь постоянно в будущем; сама же Фрося, с застывшей мыслью, в неподвижном и мучительном настоящем.

Если исключить из рассмотрения художественные произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина, Г.И.Успенского и некоторых других «доминантно» социальных авторов, то целеполагание в исканиях народного счастья прямо или косвенно выражено (в соотносительном времени), главным образом, в публицистике. Наиболее полным исследованием в этом плане является работа Л.Н. Толстого «Так что же нам делать?». Характеризуя «существующий порядок вещей, основанный на грубом насилии», Л. Толстой утверждает в качестве цели «идеал жизни, состоящий в общении людей, основанном на разумном согласии, утвержденном обычаем» (Толстой, «Рабство нашего времени», 1985, с. 415). В другом месте, в более масштабном измерении он отмечает: «Только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело только для него важно, и одно только дело оно делает – оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен нравственный закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества» (Толстой, 1985, с. 140).

Возвращаясь к четырем поставленным ранее вопросам, можно заключить, что приведенные выше цели определяют ответы на первый вопрос («Чего я хочу для моего народа?»). В связи с тем, что на протяжении всей работы Л. Толстой обсуждает проблему свободы, вероятно, что эта цель является ответом на 3-й третий вопрос («Чего, я считаю, хочет мой народ?»). Иной позиции в этом вопросе придерживается Г.П. Федотов. В статье «Россия и свобода» он отмечает, что русский народ сознательно и бессознательно «сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой» (Федотов, 1989, с. 415) не в пользу по-

следней. Г.П. Федотов исследует различие «воли» и «свободы» для «русского слуха» и заключает: «Воля есть, прежде всего, возможность жить, пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе, воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник – это идеал московской воли, как Грозный – идеал царя» (там же, с. 201).

Невозможно обойти целое направление русской мысли, утверждающее предназначение России к чему-то великому. Наиболее аргументированно обсуждает эту идею Н.А. Бердяев. Общий смысл ее заключается в том, что истинное счастье и назначение русского народа состоит в открытии пути к счастью для всего человечества. Бердяев считает, что к идеям этого порядка прилипло много фальши и лжи. Но отразилось в них и что-то подлинно народное, подлинно русское. В качестве доказательства Бердяев ссылаясь на историческую устойчивость воспроизводства Русской Идеи (Москва – третий Рим, славянофильство, неославянофилы), а так же на то, что «не может человек всю жизнь чувствовать какое-то особенное, и великое призвание и остро сознавать его в периоды наибольшего духовного подъема, если человек этот ни к чему значительному не призван и не предназначен. Это биологически невозможно. Невозможно это и в жизни целого народа» (Бердяев, 1990б, с. 7).

В связи с необычностью такого доказательства следует отметить, что выбор метода доказательства здесь не связан с отсутствием научных традиций. Известны, в частности, достаточно глубокие фольклорные и этнографические исследования, которые дают возможность ответить на третий и четвертый вопросы. Однако этот объективный материал часто препарируется по заранее обозначенной схеме.

Что касается особой миссии, то Бердяевым она принимается не в противопоставлении другим народам, а в сопоставлении с ними. Этому служат, в частности, аналогии с Грецией, Римом, Испанией и др. Таким образом, вновь оживает утешительная философия предназначения человека в интерпретации горьковского Луки, для коллективных субъектов (народов) приобретая иное звучание.

Другая целевая установка в размышлениях Н.А. Бердяева – это «свободная творческая жизнь» (там же, с. 12) народа. Если Г.П. Федотов находит решение загадки России в психологической дифференциации свободы и воли для русского духа, то Бердяев ищет объяснение в исходной антиномичности, «двойственности лика России» (там же, с. 8), выводя двойственность русского духа из двойственности русского исторического бытия.

Завершая краткое обсуждение вопросов целеполагания в исканиях «русской мысли», можно сделать некоторые выводы.

Вопросы целеполагания в индивидуальной жизни человека в российском сознании анализируются преимущественно в художественной форме; для общества в целом (русского народа) – в публицистической литературе. Первое, художественное направление задает программы личностного самоопределения и самовыражения, требующие для своего восприятия высокого уровня интеллектуальной культуры, или доступные для массового сознания объяснимые схемы, не дающие эффекта личностной самоидентификации (идеи всеобщего блага и личностной функциональной определенности, где личность выступает скорее как средство, нежели как цель).

В публицистическом направлении можно выделить цели сверхвысокого уровня (мессианские), высокого уровня (христианские), среднего (идея свободы) и низкого уровня в их негативной трактовке как «повседневной» жизни, терпимости и др. Можно отметить также весьма слабую вовлеченность в «духовный поток» условно объективных данных (фольклорные, этнографические, психологические исследования).

Содержание жизни, соответствующее идеалу. Согласно взглядам Л.Н. Толстого, это разумное самоограничение, самообслуживание, посильный физический труд, трудовая жизнь; при этом должны выполняться условия: «меньше брать от других, больше давать», отречься от личной выгоды, привилегий, денег.

Не обсуждая этого вопроса специально, Г.П. Федотов в статье «Россия и свобода» отмечает некоторые основные признаки содержания жизни, отвечающие провозглашенному им идеалу. Это, в частности, соответствующий идеалу свободы способ «культурного общежития», основанный на «уважении к чужой свободе» и противопоставляемый Г.П. Федотовым «русскому идеалу воли», который «находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвения страсти – разбойничества, бунта и тирании (Федотов, 1989, с. 204). Активно отвергая формы проявления подобного «дискретного» образа жизни («когда терпеть становится невмочь», когда «чаша народного горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, грабит, мстит своим притеснителям, пока сердце отойдет; злоба утихнет – и вчерашний «вор» сам протягивает руки царским приставам: «вяжите меня» (там же, с. 171), Г.П. Федотов намечает способ реализации иного образа жизни, соответствующего иному идеалу.

Парадоксальная картина идеального устройства жизни предвидится Н. Бердяевым. Образ «высшего бытия», в котором «не будет уже материальных насильственных воин с ужасами, кровью и убийством» (Бердяев, 1990б, с. 171), Н. Бердяев не представляет без «борьбы, движения, исторического творчества, нового перераспределения тел и духов. Изменятся способы борьбы, все делается более тонким и внутренним, преодолеются слишком грубые и внешние методы, но и тогда будет боль движения и борьбы» (там же, с. 171). Констатируя антиномичность русского духа и бытия, Н. Бердяев сам привносит противоположные категории в объяснительные схемы этих явлений, различая абсолютные ценности духовной жизни» и относитель-

ные исторические задачи, первые – как интенции души и практически недостижимые в конкретной исторической жизни. Важным и опять же антиномичным в связи с решением Н. Бердяевым других вопросов (война, развитие общества и др.) представляется замечание о том, что «абсолютное не должно быть насильственным, внешним и формальным навязыванием относительному трансцендентных начал и принципов, а может быть лишь имманентным раскрытием высшей жизни в относительном» (там же, с. 185). Другой, не менее важный момент содержания жизни, определяемый Н. Бердяевым в связи с обсуждением проблемы «Власть слов», заключается в высказывании о том, что «вся жизнь должна определяться изнутри, а не извне, из глубины воли, а не из поверхностной среды» (там же, с. 193), которую Н. Бердяев, по-видимому, и связывает с властью слов. Новую жизнь Н. Бердяев также связывает с непосредственными гарантиями прав меньшинства и прав личности. «Количественная масса не может безраздельно господствовать над судьбой качественных индивидуальностей, судьбой личности и судьбой нации» (там же, с. 195). По Н. Бердяеву, настоящую демократию характеризует «истинное самоуправление» (там же, с. 195). Как сторонник «исторического» взгляда, Н. Бердяев не принимает «частного (поверхностного)» взгляда на жизнь и потому допускает жертвы и страдания, жестокость и твердость во имя высшей жизни, ставит ценности выше блага, призывает любить дальнего больше, чем ближнего, готов жертвовать низшими состояниями духа во имя высших, жертвовать элементарными благами во имя восхождения и эволюции человека» (там же, с. 179).

Подводя итог обсуждению названных выше вопросов этой части статьи, отметим, что провозглашаемые цели (идеал) и закономерно связанное с ними содержание жизни в теоретических конструкциях разных авторов почти всегда отражают эту необходимую связь, учитывая дифференциацию целей разного уровня. Очевидно, что мессианские идеи в меньшей степени обнаруживают шансы эволюционно-гармоничного достижения,

поэтому в концепции Н. Бердяева допустимы войны, страдания, жертвы и т.д. Образный ряд суждений Л.Н. Толстого ввиду идеала всеобщей свободы не допускает насилия, но человек и здесь также не принадлежит себе, так как «призывается», главным образом, к заботе об общем благе. Право на существование здравого (разумного) эгоизма (цели низкого уровня), в реальной жизни присутствующего у всех народов, для русского духа решительно отвергается по вполне, казалось бы, надуманной причине – в силу особенностей национального характера, а именно дискретно-бунтарского духа и отходчивости русских (Г.П. Федотов) или преобладания женственности (Н.А. Бердяев) и др.

Средства достижения идеала. Этот аспект проблемы наиболее представлен в концепциях и взглядах обсуждаемых авторов. Даже в тех случаях, когда идеал не осознан или не провозглашается прямо (представлен интуитивно и проявляется в направленности суждений), обсуждение способов избавления отечества от того или иного зла, обнаруживает приверженность авторов к идее решения искомой проблемы.

Л.Н. Толстой детально анализирует положение и исследует задачи преобразования действительности. Поражают масштабность и глубина постижения Л.Толстым различных областей знания: экономики, социологии, религии, истории и др. Логика Л.Толстого основана на обсуждении реального, а не исключительно желаемого положения вещей. Так, обсуждая воззрения социалистов, он пишет: «Идеал этот состоит в том, что рабочие, сделавшись хозяевами всех орудий производства, будут пользоваться всеми теми удобствами и удовольствиями, которыми пользуются теперь одни достаточные люди... Но для того, чтобы все пользовались известными предметами, надо распределить производство желательных предметов и, стало быть, определить, сколько времени должен работать каждый работник: как определить это?» (Толстой, «Рабство нашего времени» 1985, с. 380—381). Далее Л.Толстой фактически моделирует плановую экономику социализма и показывает невозможность

практического осуществления идеала свободы и в этом случае, так как неизбежно одни люди, которым будет дана власть, будут решать, а другие должны будут повиноваться им (там же, с. 390). В поисках решения вопроса о способах достижения идеала в сферах политики, юриспруденции, экономики и социологии Л.Толстой высказывает ряд резких и категоричных суждений о науке в целом. Упреки Л.Толстого науке объясняются высокими нравственными требованиями писателя к личности ученого и невозможностью широкого и немедленного практического эффекта научных изысканий как старого, так и нового времени. Интересно отметить, что в качестве третьей, «самой твердой, неустранимой причины рабства» Л.Толстой называет социально-психологическую, а именно – «неудовлетворенные увеличенные потребности» (там же).

От анализа главных законов, ограничивающих свободу (законы о земле, о налогах, о собственности), Л.Толстой переходит к обсуждению сути понятия «закон» («узаконение»), констатируя при этом необходимость силы, которая только и может заставить людей исполнять их (то есть правила или волю других, издавших законы), таким образом, возвращаясь к явлению насилия и завершая круг суждений логическим парадоксом свободы. Тем не менее, Л. Толстой считает, что люди могут и должны обходиться без насилия, быть свободными на основе разумного согласия. «Для уничтожения *насилия* нужно только обличение того обмана, который дает возможность малому числу людей совершать насилие над большим числом» (там же, с. 408). Л.Толстой не рассчитывает на одномоментное решение проблемы, и видит «бесконечное количество ступеней, по которым не переставая шло и идет человечество» (там же, с. 415). Приближение к идеалу, считает Л.Толстой совершается «только по мере освобождения людей от участия в насилии, от пользования им, от привычки к нему» (там же, с. 415). Не принимая насилия абсолютно, Л.Толстой, тем не менее, оптимистичен в своем прогнозе будущего. Достижение идеала он связывает с

психологическими изменениями в обществе, отмечая: «В какой же степени и когда осуществляется в каждом обществе и во всем мире замена насилия разумным и свободным соглашением, утвержденным обычаем, будет зависеть от силы ясности сознания людей и от количества отдельных людей, освоивших это сознание» (там же, с. 380—381).

Иной, парадоксальной в соотнесении со взглядами Л.Толстого, является мысль Н. Бердяева. Исходя из идей Вселенского, Космического Сознания (Разума), он, тем не менее, допускает возможность, а в отдельных случаях и необходимость насилия в историческом процессе. Здесь следует сделать замечание, объясняющее «силовую» позицию Н. Бердяева. Дело в том, что Н.Бердяев считает возможным лишь один исторический путь к «достижению высшей всечеловечности, к единству человечества» – это «путь национального роста и развития, национального творчества» (Бердяев, 1990б, с. 88). В этом же ряду, в связи с идеей особенного русского вклада в мировое развитие (проблема русского мессианизма) стоит убеждение Н. Бердяева в необходимости предшествующей «положительной национальной работы, духовного и материального очищения, укрепления и развития нашего национального бытия» (там же, с. 97). «Механизм не может быть программой, программа должна быть творчески-национальной» – пишет Н. Бердяев (там же).

Таким образом, основным средством достижения искомой цели (всеединства) Н.Бердяев считает продуцирование специфического (национального) нового общезначимого продукта (материального и духовного), а условием такого продуцирования (творчества) Н.Бердяев считает – более глубокое по сравнению с марксизмом сознание, возможное лишь на религиозной почве.

Если обратиться к двум известным моделям развития мира, в частности живой материи (эволюционно-стохастическая или программно-реализующаяся), то становится ясно, что взглядам Н.Бердяева более соответствует вторая модель. Однако в

этом случае не вполне ясна так называемая форма обратной связи, каковой для научного мировоззрения выступает научно-технический прогресс. Подтверждение научной мысли в практической деятельности является одной из форм обратной связи, как позитивной, так и негативной, так как отрицательные последствия свидетельствуют о несовершенстве, неполноте знаний и тем самым способствуют их дальнейшему прогрессивному развитию. Эта схема развития естественно-технических знаний выступает в качестве образца и для социальных знаний. Однако социальные теории сегодня оказались не столь убедительными и точными в ином, конструкционистском измерении, что послужило новым импульсом к возрождению и дальнейшему развитию гуманитарных знаний (Петренко, 2007).

Периодическая смена мировоззренческих установок в истории (Шкуратов, 1990), возможно, отражает индивидуально-психологическую специфику человеческого мышления (логическое и образное) в различных социально-исторических и социально-демографических условиях. Последние, как явствует из исследований А.Л. Чижевского, могут быть также обусловлены космическими явлениями периодического характера (Чижевский, 1976).

Вполне естественно, что обсуждение вопроса о средствах, путях или способах достижения цели не обходится без этического момента. Находясь в оппозиции к известной мысли Ф.М. Достоевского, Н. Бердяев находит следующее объяснение «исторического взгляда» на жестокость процесса развития: «Жертвы и страдания могут быть оправданы, если видеть ту глубину всякого существа, на которой судьба национальная, историческая и мировая есть его собственная судьба» (Бердяев, 1990б, с. 178). Исторический «экстремизм» Бердяева можно объяснить слабой разработкой темы средств (способов, путей) достижения выдвигаемых целей в немарксистских концепциях российских философов. Тем не менее, можно предположить, что позиция Н. Бердяева лично выстрадана. В его суждениях о

Л. Толстом мы находим: «Толстой требовал абсолютного схождения средств с целями, в то время как историческая жизнь основана на абсолютном несхождении средств с целями» (Бердяев, 1990а, с. 176). И несколько дальше: «Он прав, что насиліем нельзя побороть зла и нельзя осуществить добро, но он не признает, что насилію нужно положить внешнюю границу. Есть насиліе порабощающее, как есть насиліе освобождающее» (там же, с. 176). По поводу последнего можно сказать, что теперь мы знаем, как сложно отделить первое от второго. Иное решение этической дилеммы «цели – средства» Н. Бердяев находит в Легенде о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского (противопоставление принуждению свободы духа).

Возвращаясь к проблеме средств, можно заключить, что Н. Бердяев, хотя и весьма обобщенно, но определяет эти средства. Так, он отмечает: «Новая жизнь очищалась исключительно от изменений социальной среды, от внешней общественности, а не от творческих изменений в личности, не от духовного перерождения народа, его воли, его сознания. Народный и личный характер совсем не принимается в расчет в наших демократических социальных учениях... Русский народ должен перейти к истинному самоуправлению. Но этот переход зависит от качества человеческого материала, от способности к самоуправлению всех нас» (там же, с. 176).

Последнее суждение перекликается с комментарием Г.П. Федотова: «Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему сам царь, и испытывал как лишнее бремя участие в земских соборах, которые могли бы, при ином отношении народа к государственному делу, сделаться зерном русских представительных учреждений» (Федотов, 1989, с. 205). Что же это за народ, не желающий отстаивать или даже принимать в качестве подарка свои интересы? Перейдем к анализу характера тех, кто или, вернее, для кого ищется лучшая жизнь.

Характер народа. Книга с таким названием опубликована Н.О. Лосским. Работа имеет сравнительно-теоретический характер, как, впрочем, и все другие работы по аналогичной теме. Более или менее строгие научно-эмпирические (кросскультурные) исследования по данной проблеме стали проводиться относительно недавно. Тем не менее, о наличии определенных достижений в этой области можно судить по результатам наблюдений и интуитивных озарений большого числа отечественных и зарубежных авторов. Так, Н.О.Лосский, апеллируя к разным источникам, констатирует в качестве основной, наиболее глубокой черты русского народа религиозность (Лосский, 1991, с. 240), инверсируя в качестве таковой также массовую веру русских в коммунизм в послеоктябрьский период. Объясняя противоположные проявления русского характера, Н.О.Лосский цитирует Л.П. Карсавина: «Если же русский усомнится в абсолютном идеале, то он может дойти до крайнего скотоподобия или равнодушия ко всему; он способен прийти от невероятной законопослушности до самого необузданного безграничного бунта» (там же, с. 241).

В другом месте Н.О.Лосский, интерпретируя понятие религиозности, видит такие его проявления, как искание абсолютного добра и смысла жизни, страсть к абсолютным ценностям и преобразению мира, «страстное искание истины и правды» (там же, с. 258), «стремление к полному совершенству и чуткость к недостаткам нашей действительности» (там же, с. 241). По мнению Н.О.Лосского, «отрицательные проявления русского характера объясняются чрезмерной чуткостью ко всяким недостаткам своей и чужой деятельности» (антиномичность, по Н.А. Бердяеву).

Следующая, основная («первичная») черта русского характера, выделяемая Н.О.Лосским, – «могучая сила воли и страстность многих людей» (там же, с. 272). «Страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля», – отмечает Достоевский (Достоевский, «Иска-

ния и размышления», 1983, с. 98). Этими свойствами Н.О. Лосский объясняет часто встречающееся в русском народе отсутствие меры, неумение идти средним путем, а также максимализм, экстремизм, фанатическую нетерпимость, и, соответственно, охлаждение к начатому и отвращение к его продолжению и др. Это позволяет Н.О.Лосскому сделать вывод о том, что «воля и мышление русского народа не дисциплинированы» (Лосский, 1991, с. 269), т.е. не оформлены, что отмечает также и Н.А. Бердяев. Другим негативным проявлением волевой сферы русских Н.О.Лосский, ссылаясь на И.А. Ильина, считает отсутствие дальновидного расчета и заранее выработанного плана в ситуациях преодоления трудностей. Эти ситуации, по оценке И.А.Ильина, разрешаются «посредством импровизации в последнюю минуту» (там же, с. 332) (слабость русской воли, по Бердяеву). Сам И.А.Ильин отмечает «внутреннюю, жизненно-душевную «свободу», выражающуюся в чертах, свойственных русскому характеру и русскому общественному укладу... эти черты: душевного простора, созерцательности, творческой легкости, страстной силы, склонности к дерзновению, опьянению мечтой, щедрости и расточительности, и, наконец, это искусство прожигать быт смехом и побеждать страдание юмором» (Ильин, 1990).

В работе Н.О.Лосского приводится также множество других характеристик русского народа: выдающаяся доброта, обаятельность, смирение, спокойствие, сдержанность, внутренняя гармония, сострадательность, душевная мягкость, миролюбие, даровитость и др., а так же их противоположные проявления. Важно отметить, «что русский человек, заметив какой-либо свой недостаток и нравственно осудив его, преодолевает его и вырабатывает в совершенстве противоположное ему положительное качество» (там же, с. 273), чему Н.О. Лосский приводит множество примеров. Однако эти примеры, возможно, подтверждают мысль Н.А. Бердяева о коллективе как единственной формообразующей внешней силе русского характера. Н.А. Бер-

дьяв более категоричен, утверждая, что «духовная работа над формированием своей личности не представляется русскому человеку нужной и пленительной» (Бердяев, 1990б, с. 73).

Не столь однозначно, как Н.О. Лосский, придерживаясь установки божественного предназначения свойств души того или иного народа, Н.А. Бердяев привлекает к его характеристике такие детерминанты характера, как пространство, время и др. «Широта» русского характера, как его общее свойство, противоположное «узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души» (там же, с. 61), возможно, и есть преимущество неоформленности. Здесь фиксируются также другие недостатки характера, которые не приняты Н.О.Лосским: слабо развитое чувство ответственности, женственность души русского народа, покорность силе, антиномичность национального самосознания, недостаток честности и чести и др. (там же, с. 73). Бердяев считает, что русским свойственно «равнодушие к идеям и идейному творчеству», «вялость и инертность мысли, нелюбовь к мысли, неверие в мысль», неприятие отвлеченной мысли, «любовь к катехизисам» (там же, с. 75). «Он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь», – пишет Г.П. Федотов (Федотов, 1989, с. 203). Достоевским это свойство метко названо «русской стремительностью к общению», «удовлетворимостью простейшим, малым и ничтожным», «чрезмерной» упрощенностью воззрений, причем такой, которая «в иных случаях вредит самим упрощителям» (Достоевский, «Изыскания и размышления», 1983, с. 311).

Отсюда Бердяев выводит «равнодушие к истине русского человека», в отличие от правды, которая мыслится религиозно, морально или социально, т.е. для русских смешаны правда-истина и правда-справедливость (Бердяев, 1990б, с. 77). Такая специфика интеллектуальных качеств, видимо, хорошо сочетается с определенными личностными свойствами. Бердяев отмечает, в частности, что «в типичной русской душе – много про-

стоты прямоты и бесхитренности, ей чужда всякая аффектация, всякий взвинченный пафос, всякий аристократический гонор, всякий жест» (там же, с. 141). Возможно, что и здесь имеет место соподчиненность свойств, аналогичная отмечавшейся ранее (интеллектуальные и личные свойства). В данном случае перечисленные качества вполне объяснимы с точки зрения более общего свойства (ценностная диспозиция) – «устремленности к последнему и окончательному, к абсолютному во всем: к абсолютной свободе и к абсолютной любви» (там же, с. 27). «Но в природно-историческом процессе, – продолжает Бердяев, – царит относительное и среднее. И потому русская жажда абсолютной свободы на практике слишком часто приводит к рабству в относительном и среднем и русская жажда абсолютной любви – к вражде и ненависти».

В многообразии свойств русского характера есть одно, главенствующее значение которого подчеркивал Достоевский. Потребность страдания – «самая коренная духовная потребность русского народа»; «даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье для него не полно»; «страданием своим русский народ как бы наслаждается» (Достоевский, «Изыскания и размышления», 1983, с. 235). Писатель образно доказывает это, сравнивая поведения пьяных русского и немца: «Пьяный немец, несомненно, счастливый человек и никогда не плачет: он поет самохвальные песни и гордится собою... Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буйнит» (там же, с. 256).

Способность (в высокой степени) к самосознанию – одна из отличительных черт русских, по мнению Ф.М. Достоевского. «Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость вводит» (там же, с. 256).

Тема народных страданий, несчастий – основная тема и в размышлениях Толстого. Первый писатель России со свойственной ему высочайшей аналитической способностью указывает на три типа несчастных, выявленных им во время переписи. Несчастье первых, т.е. «людей, потерявших свое прежнее выгодное положение и ожидающих возвращения к нему», непоправимо внешними средствами; они ни в каком положении не могут быть счастливы, если взгляд их на жизнь останется тот же»; «помочь такому человеку можно только тем, чтоб переменить его мировоззрение» (Толстой, «Так что же нам делать?», 1985, с. 121). В этом случае наблюдение Толстого, видимо, обнаруживает то же самое явление, о котором пишет Достоевский, – потребность в страдании.

У несчастных второго и третьего типов в классификации Толстого (дети и распутные женщины) обнаруживается несколько иной уровень сознания. Они «не видят безнравственности своей жизни. Они видят, что их презирают и ругают, но за что их так презирают, им невозможно понять. Их жизнь так шла с детства» (там же, с. 138).

Любопытно, что Толстой не оценивает те или иные качества как народные и характерологические. Причины несчастий он видит в образе жизни, в окружающей среде и в самом поведении и сознании человека. Так, в частности, он пишет: «Большинство несчастных, которых я увидел, были несчастные только потому, что они потеряли способность, охоту и привычку зарабатывать свой хлеб» (там же, с. 137). Таким образом, иная (этическая) установка приводит, как мы видели ранее, не только к видению других целей, содержания и средств решения проблемы, но и иному образу народа как объекта исканий.

Субъект исканий, или проблемы российской интеллигенции. Российская интеллигенция, возможно, действительно является особенным явлением мировой цивилизации. Как понять социальную группу, значительная часть которой, вопреки своим социально-групповым интересам, сочувствует, пропаган-

дирует и борется за интересы неконгруэнтного класса, за счет которого фактически существует? Реальность такой «эсхатологической» модели поражает любое воображение. И если искать причины названного явления не в области мистической предуготовленности или крайней формы русского мессианизма, то, очевидно, «страннические», диссидентные и «социально-суицидные» интенции русской интеллигенции объясняются причинами психологического характера, точнее, идейно-психологическими. Уже Л.Н. Толстой не видит места для интеллигенции в общественной жизни государства. Его отрицательное отношение к прагматическим сферам науки и искусства – это, скорее, отношение к людям, занятым в этих сферах. В этом плане рефлексия и саморефлексия Толстого крайне (беспощадно) последовательна. Достаточно прочитать «Исповедь» и дневниковые записи, связанные с темой смысла жизни. Вместе с тем, постоянная конфронтация чисто интеллектуальной сферы и сферы разумно организованного физического труда, как на личном, так и на социальном уровне отражает поразительную целостность мысли Л.Толстого. Однако в других лицах сочетание этой целостной позиции с меньшей силой духа и с неспособностью к самоактуализации может оборачиваться и экстремизмом, и депрессией.

Художественная интерпретация «лишнего», самосозерцающего человека, очевидно, имела реальные основания не только в личностных особенностях писателей, но и в российской действительности. Таким образом, невостребованность образованной личности в России, с одной стороны (как социальное явление), и абсолютный идеал блага в форме «отвержения от себя и служения другим» – с другой, определили феномен российской интеллигенции, ее социологизированность в ущерб индивидуализированности. При этом парадокс состоит в том, что это было общей позицией и западников, и славянофилов. Поэтому удивительно точен Ф.М. Достоевский, утверждая, что «все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется,

ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый в себе представили» (Достоевский, 1983, «Изыскания и размышления», с. 257).

Запущенный Петром I механизм изолированного духовного существования интеллигенции и народа не всеми исследователями воспринимался драматично. Так, Г.П. Федотов, апеллируя к примерам Индии и Китая, видел единственно возможный исторический путь развития демократии в России в первоначальном утверждении (политической) свободы для немногих (вельмож) и последующей борьбе за ее расширение на все условия, в пределе – на всю нацию.

Интересную параллель замечанию Достоевского находим у Д.Н. Овсяннико-Куликовского. Он выделяет два типа отношений мыслящего человека (интеллигента) к той или иной умственной деятельности: 1) «духовная ценность не урезывается и не обесценивается, чтобы приладиться к психике лица, а, напротив, психика лица расширяется – чтобы воспринять данную ценность в ее наиболее полном, выражении», 2) «восприятие, духовных благ определяется потребностями внутреннего мира, берется то, что нужно и отвергается то, что не нужно». Овсяннико-Куликовский считает, что в отсталых странах преобладает вторая тенденция, которая находит выражение в «искании идей», т.е. в «выработке миросозерцания». Таким образом, создается «идеология» для решения всех вопросов, в том числе и неразрешимых, надежда, не *изменяя* образа жизни, с помощью убеждения «горячим словом» «обратить темных людей на путь истины» (Овсяннико-Куликовский, 1991, с. 401).

Другой аспект этой же проблемы представлен М.О. Гершензоном. Он считает, что деспотизм в России «вызвал в образованной части общества преувеличенный интерес к вопросам общественности... Общественность заполнила сознание; разрыв между деятельностью сознания и личной чувственно-волевой жизнью стал общей нормой, более того – он был признан мерилом святости, единственным путем к спасению души». Образно

поясняя свою мысль, Гершензон пишет: «Дома – грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях. Он спасает народ – да оно легче и занятнее, нежели черная работа дома... Никто не жил – все делали (или делали вид, что делают) общественное дело» (Гершензон, 1991, с. 106). Гершензон весьма резко характеризует интеллигенцию своего времени, но все же верит в движение русской интеллигенции к творческому личному самосозерцанию. И в этом пожелании есть резон. Не случайно Н.А. Бердяев замечает, что русские писатели XIX в. творили не от «радостного творческого избытка, а от жажды спасения народа, человечества и всего мира» (Бердяев, 1990а, с. 63). Далее, он еще более жестко отмечает исключительную способность русской интеллигенции к идейным увлечениям: «Русские не скептики, они догматики, у них все приобретает религиозный характер, они плохо понимают относительное» (там же, с. 65).

Переходя в соответствующую плоскость жизни современной России, можно констатировать, что в сложной ситуации необходима общность основных целей различных социальных групп. Эти цели, конечно, должны быть связаны: с целями государственного и общественного развития России (особенно их соотношения); с соответствующими формами (содержанием) государственной и общественной жизни (эти модели должны быть заранее известны); с согласованными способами достижения целей; с учетом социально-психологических особенностей (ментальности) населения России и, наконец, с интеллектуальным, эмоциональным и организационным потенциалом того слоя избираемых, назначаемых или стремящихся к руководству, который достаточно часто в Российской истории оказывается не на высоте своего положения. Не случайно восклицает Н.А. Бердяев: «Главная беда России... в плохой общественной плетке, в недостатке настоящих людей, которых история могла бы призвать для реального подлинно радикального преобразования России, в слабости русской воли, в недостатке общественного самовоспитания и самодисциплины» (там же, с. 190).

На это можно возразить, что это всего лишь субъективный фактор истории. Но что есть объективный фактор после многих лет «объективно» препарированной науки и истории? «Чистый» метод как оппозиция концептуальной схеме вряд ли возможен, во всяком случае, интерпретация всегда несет в себе, скрыто или явно, теоретическую установку. Так, опираясь на результаты опроса, проведенного в перестроечный период ВЦИОМ, Ю. Левада приходит к заключению, что «беда нашего общества... не в том, что в массе, в народе отсутствуют разумные установки: мы живем и выживем именно благодаря им. Беда (имеющая свои исторические и психологические корни) в той расстановке умственных или, скажем, душевных сил российского общества, которая не допускает формирования разумных и действенных «мозговых» структур. Недостаточной разумностью грешит, прежде всего, элита общества, которая призвана быть хранителем его разума» (Левада, 1992). Такого типа объяснения уже имели место в истории российского сознания. Неясно другое, почему и сегодня, в таком случае, имеет место оторванность «элиты» от основной массы, народа. Ведь новую элиту сегодня составляют в подавляющем большинстве выходцы из народа, «народная интеллигенция». Возможно, что объективистский тезис о детерминирующем влиянии условий и образа жизни все еще годится для объяснения механики «колеса» отечественной истории, но только при том условии, что учитываются другие «переменные (цели, средства и т.д.). В списке переменных, как выяснилось, «конфронтирующей» является субъект-субъектная связь «народ (общество) – интеллигенция (управленческая элита)». Неспособность принимать условность, по нашему мнению, – тот водораздел взаимного непонимания между интеллигенцией и народом, который, по-видимому, сохраняется и сегодня. Согласованная цель (цели) и есть сегодня та условность, которая может быть принята или нет той или иной социальной группой, обществом в целом. Согласование весьма усложняется наличием противоречий (различных интересов) в содержании целей и

формах их достижения. Сложность содержания целей связана с необходимым объединением в них бытийного (реального, конкретного) и экзистенциального (перспективного, идеального). Договориться о формах движения сложнее. Директивный (авторитарный, авторитетный) путь все более вытесняется конвенциональным («общественный договор», конституция). Однако и в условиях демократии (конвенции) не в полной мере решаются противоречия необходимого и возможного, способностей и вознаграждений и др. Идеология консолидированного согласия (и действия), сменяющая на определенном этапе конвенциональную парадигму, позволяет приблизиться к разрешению противоречий. Принятие данной идеологии как условия согласованного движения и есть одна из форм принятия условности. Действительно, путь развития цивилизации от мифологически-ритуальных до осознанно-законотворческих форм жизнедеятельности в обществе предполагает достаточно высокий уровень согласия и не только в принятии определенных правил поведения и деятельности, но и не меньший уровень исполнительной дисциплины, как в активности внутреннего, психологического, так и внешнего плана. Расхождение между народом и интеллигенцией в этом смысле заключено не в абсолютной неспособности (нежелании) одной из сторон принимать условность (конвенциональность), а в принципиальном расхождении того содержания жизнедеятельности, в котором народ хочет или может принимать условность, и того, что принято интеллигенцией или избранной народом властью.

Здесь следует пояснить, что может определяться сочетанием «принятие условности».

С содержанием данного понятия соотносится активно артикулируемое сегодня выражение «тип рациональности». Дифференциация, в связи с этим, правил логики, отчетливо иллюстрируется в одной из ранних работ А.Р.Лурия (Лурия, 1974), продолженной в исследованиях М.Коула (Коул, 1997) по культурно-исторической психологии. Отталкиваясь также от работ в

области культурной (социальной) антропологии, исторической и кросскультурной психологии, можно выделить такие типы понимания (суждений, умозаключений, аргументаций и т.д.) и познания, как мифологика, логика веры, схоластическая логика, формальная логика, диалектическая логика и др. В рамках той или иной логики могут сосуществовать или конфликтовать различные планы (сублогика) реализации правил, аргументаций. Например, логика веры реализуется в христианстве, иудаизме, исламе, буддизме и т.д.; в христианстве – православие, католицизм, протестантизм и др. Важно отметить, что в пределах одной логики всегда существует «оппонирующая» ветвь, в частности явление юродства в православной культуре (Иванов, 1994). Карающая конфронтация или уничтожение оппонирующих сублогик чревато разрушением базовой логики (инакомыслие, диссидентство в период «советской логики»), как, впрочем, и потеря «базового лица» ввиду множественного и хаотичного обращения агрессивными ответвлениями (предреволюционная Россия).

Явления юродства, диссидентства, экстремизма интересны также с точки зрения двух крайних моделей субъективной логики – абсолютная власть над собой и абсолютная власть над другими. Примеров пассионарных личностей первого и второго планов как в Российской, так и в Всемирной истории известно немало. Психологически, на наш взгляд, важно дифференцировать соответствующие виды мотивации, в частности, интерпретируя показатели мотивации достижений, обусловленных либо интенциями индивидуальных достижений, либо стремлениями коллективных (групповых) достижений, которые, в свою очередь специфичны во внутриличностном и межличностном планах, как в интрагрупповом, так и в межгрупповом планах.

Если согласиться с определением интеллигенции как наиболее образованной части народа, то причины социального диссонанса, очевидно, следует искать также в российской системе образования. Соответствующий диахронный анализ рос-

сийской системы образования еще предстоит. Обратимся лишь к некоторым результатам локальных исследований, проведенных Т. Карпасовой и А. Ефимовым под нашим руководством: студенты 1-го и 2-го курсов физико-математического факультета и факультета иностранных языков в свободном описании определяли свое понимание личности. Все определения анализировались с точки зрения типа установки – авторитарной или гуманистической. К первому типу были отнесены определения, в соответствии с которыми личностью может быть назван выдающийся человек или человек с рядом позитивных свойств, выделяющих его из общей массы людей. В определениях второго типа за каждым человеком признается право называться личностью. В таблице .1 представлены результаты опроса.

Таблица 1
Представление о личности у студентов (%)

Тип установки	Профиль образования			
	Естественнонаучный		Гуманитарный	
	Год обучения			
	1	2	1	2
Авторитарная (личность – особенный человек)	41	69	42	22
Гуманистическая (каждый человек – личность)	42	25	53	55
Неопределенный ответ	16	6	6	22

Из таблицы ясно, что в процессе вузовского обучения типы установки у студентов естественного и гуманитарного факультетов меняются в разных направлениях. У первых увеличивается представленность авторитарной и уменьшается представленность гуманистической установки, а также уменьшается доля неопределенных ответов. У студентов гуманитарного факультета на втором курсе сравнительно с первым почти вдвое меньше учащихся с авторитарным типом установки, процент гумани-

стически ориентированных студентов почти одинаков, но резко возрастает количество неопределенных ответов.

Таким образом, в процессе высшего образования, помимо профессиональных, формируются личностные установки; их тип зависит от профиля обучения, причем тенденции могут быть противоположными для естественных и гуманитарных специальностей.

Очевидно, что современная образовательная система существенно отличается от дореволюционной. Сегодня общеобразовательный уровень населения значительно выше. Разрыв между образованной элитой и остальной частью населения не столь велик, как раньше.

В таблице 2 приведены результаты измерения стереотипных представлений о национальном характере французов и русских у студентов факультета иностранных языков и старшеклассников общеобразовательной и специальной (с углубленным изучением французского языка) школ. Учащиеся школ разного типа объединены, так как в рассматриваемом отношении выборы отличаются несущественно.

Таблица 2

Этнические стереотипы студентов и старшеклассников (%)

	Студенты		Школьники	
	о французах	о русских	о французах	о русских
Равнодушие	2	29	15	33
Национальная гордость	73	33	76	46
Национализм	24	39	9	20

Как показано в таблице 2, в распределении стереотипных представлений студентов и школьников имеет место тенденция переоценки негативных и недооценки позитивных проявлений в собственных национальных группах, однако у студентов эта тенденция выражена значительно больше (первая и третья строки таблицы .2) (Формирование и развитие..., 1991).

Высшее образование в значительной мере изменяет установки человека. В таблице 3 представлены результаты измерения установок студентов и учащихся 10-11 классов в отношении прогрессивности – консерватизма взглядов (мышления), инициативности – пассивности, трудолюбия – лени, практичности – идейности, политической активности – пассивности французов и русских.

Таблица 3
Этнические стереотипы учащихся (%)

	Студенты		Школьники	
	о французах	о русских	о французах	о русских
Прогрессивность взглядов	84	14	93	72
Твердость характера	63	67	89	50
Инициативность	90	47	89	50
Трудолюбие	98	53	98	80
Практичность	100	84	93	94
Политическая активность	47	69	78	37

Данные, приведенные в таблице 3, демонстрируют значительно большую дифференциацию установок у студентов в отличие от школьников. Конечно, возрастная детерминанта имеет значение в распределении стереотипных представлений, однако нам представляется, что здесь значительно больший вес имеет фактор образования. Показательной в этом плане является первая из приведенных в таблице 3 характеристик: 84% опрошенных студентов признают взгляды французов прогрессивными и 86% – признают взгляды русских консервативными. У старшеклассников разрыв этих показателей значительно меньше.

Любопытно также, что, вопреки сложившемуся мнению о слабости русского характера, женственности натуры, недостатке воли (вспомним лесковскую метафору о мягком, сыром тесте, которое топором не разрубишь из повести «Железная воля»), эмпирическая картина совершенно иная. Согласно оценкам сту-

дентов, по волевым качествам русские даже несколько превосходят французов (французы, конечно, не немцы). Школьники в этом вопросе отдают предпочтение французам. В оценках трудолюбия и практичности, напротив, школьники реже, чем студенты, оказывают предпочтение французам. Объяснение противоположности тенденций оценивания политической активности студентами и школьниками (таблица 3) требует специального исследования.

Принимая фактор элитного (высшего) образования как главную причину существующего (и существовавшего) диссонанса в сознании и действиях (воле) интеллигенции и народа, мы, конечно, не призываем к ликвидации образования как к способу устранения диссонанса. Но, очевидно, необходима существенная коррекция системы высшего образования в случае сохранения его элитного характера. Если цели и содержание высшего образования уже подвергаются значительным изменениям, то этого нельзя сказать о методах обучения. Сохраняется весьма жесткий авторитарный подход. Студенты не реализуют даже в минимальном объеме своего права быть субъектами образовательного процесса. Соответствующая форма не заложена и в общеобразовательной школе (социальная психология образования).

Подводя общий итог, можно заключить, что управление обществом, его развитием, может быть желаемым и декларируемым, либо обоснованным и реальным. В последнем случае участвует вся «связка» существенных переменных: цели и содержание жизнедеятельности общества; средства достижения целей, их поддержания и развития; субъекты и «объекты» жизнедеятельности и управления. Специфика российского пути выразилась в рассогласовании последних двух важнейших компонентов в структуре любых целеустремленных систем, т.е. в несостыкованности жизнедеятельности интеллигенции (управляющего слоя) и народа. Единственным продуктивным гуманистическим способом преодоления диссонанса является адекват-

ное решение проблемы образования и самообразования на всех его уровнях, в особенности Интернет- и СМИ-образования.

В рациональной схеме оценки государственного устройства два важнейших фактора определяют практически все основные состояния общественной жизни: 1) широта и активность обсуждения в обществе основ его устройства и текущей жизни, его социально-экономической, политической и других форм организации, все, что условно можно назвать сферой общественного сознания; 2) интенсивность и широта поведенческих проявлений, выходящих за пределы нормативных установлений, характерных для существующего общественного устройства, т.е. область сверхнормативного общественного волеизъявления (различные свободы) (Психология сознания).

Различные сочетания уровней, градаций (высокий – низкий) того и другого фактора определяют известные типы государственного устройства общества. Так, абсолютизм (автократия, тоталитаризм) взаимосвязан с весьма низкими показателями проявлений общественного сознания и воли. Определенная часть людей в этих условиях чувствует себя весьма комфортно. Но это «счастье» достигается за счет несчастья других. Неизбежно возникающие временные фазы бунтов, революций и смут предопределяются низкой (неадекватной) информированностью людей и высокими показателями волевой активности (пассионарностью). Трудно говорить о чем-либо счастье в столь динамичных разрушительных условиях. Противоположная картина (насыщенная духовная жизнь и средняя сверхнормативная волевая активность) характерна для либерально-демократических государственных общественных образований. Можно также выделить определенный тип государственного устройства периодов освободительных или так называемых справедливых войн, когда одинаково необходимы как высокие проявления свободной воли, так и свободного духа. Очевидно, что счастье, как условное переживание, не может быть одновременно всеобщим. Но признать невозможность счастья одних при одновременном

переживании несчастья другими (кризис противоречивых знаний или недопустимость нарушения установленных норм) – значит признать невозможность рационального этического решения исходной задачи как «глобальной проблемы человечества». С другой стороны, попытки включения в процесс решения временных характеристик «прошлое – настоящее – будущее» предполагают достаточность дозированного или «эрзац» счастья, что также изменяет исходную задачу (см. обсуждавшиеся взгляды Л. Толстого, М. Горького и А. Платонова).

Народная культура в контексте психологии и психотерапии

У рыбы спросили: «Какие вести с моря?».
«Вестей много, да рот полон воды», – ответила та.
Пословица армян Дона

«Знающий не говорит, говорящий не знает», – гласит известный даосский афоризм. Автором такого изречения мог быть только тот, кто умел интересоваться не столько содержанием сознания, сколько тем, что происходит с сознанием, когда оно устремляется за свои пределы. А ведь это происходит с ним непрерывно.

В.В. Малявин

В данном разделе ставится проблема интерпретации «психологических инвариантов» традиционной культуры, в частности, средств народной педагогики.

Популярная идея возрождения России, ее духа, традиций, культуры рискует остаться очередным лозунгом не только в силу организационной неопределенности соответствующих программ, но и в связи с социальной и психологической непроработанностью, отчасти, противоречивостью самой идеи.

На наш взгляд, изыскания могут быть связаны с историко-психологической разработкой проблем общественного и группового субъекта (А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев и др.), а также психологических аспектов образа жизни в различные исторические эпохи и периоды (К.А. Абульханова-Славская). И если существуют инварианты культурной эволюции, то они представляют существенный интерес как для системы социально-гуманитарных наук, так и для социальной, психологической практики. Функциональность ряда составляющих культуры может служить ключом для психологического поиска и объясне-

ния «инвариантов культуры». Но прежде попробуем разобраться в определениях понятия «культура».

Соответствующие значения в латинском языке (возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) вскрывают в этом понятии главным образом педагогический смысл. Однако укоренившееся в современном русском языке значение этого слова намного шире. В наиболее общем определении «культура» раскрывается как совокупность достижений человечества в производственной, общественной и умственной деятельности. В культуру включаются: продукты материального и умственного труда; система социальных норм и учреждений; духовные ценности; совокупность отношений (Ожегов, Шведова, 1997). Явно или неявно в этот список включают также особенности поведения, сознания и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни (труд, познание, быт). Возникает ряд сужений, построенных с использованием понятия; в частности, можно встретить словосочетания: «производственная культура», «культура умственного труда», «бытовая культура» и др. Наиболее узким является определение, в котором культура ассоциируется со всем, что не связано прямо с жизнеобеспечением (адаптацией, выживанием, преодолением и т.д.) человека. Тогда культура воспринимается как нечто несущественное, необязательное для жизненного благополучия; как некий аналог украшения.

Народную (бытовую) педагогику можно определить как часть культуры в широком смысле слова, связанную с наследованием и развитием общественного опыта, с обучением, воспитанием и социализацией.

Говорить об осознанных целевых установках носителей народной педагогики в дописьменный период или до социальной организации образовательных учреждений представляется некорректным. Однако в непрямой форме такие обучающие установки уже тогда были представлены в содержании и формах взаимодействия и общения взрослых с детьми. Содержание об-

разования как органичная часть содержания жизнедеятельности в этих случаях не представлена автономно, дифференцированно, за исключением отдельных видов совместной деятельности детей и взрослых, например, игры. Однако общий культурологический анализ позволяет осуществить косвенную реконструкцию целевой направленности социализации в тот или иной исторический период общественной жизни.

Значительный интерес в рассматриваемом аспекте вызывают формы воздействия и взаимодействия взрослых и детей, а также детей с детьми, имеющие явную педагогическую подоплеку.

Функции непрерывной трансляции культуры присутствуют во всех сферах жизнедеятельности (труд, быт, развлечения) и охватывают любые проявления активности человека: посредством обычаев, обрядов, ритуалов транслируются формы деятельности и поведения; посредством этикетных норм – формы общения; через мифы, предания – сфера сознания. Таким образом, если не целостность, то полнота жизни в ее психологической триаде «знание – переживание – действие» неизменно достигается в непрерывном структурировании как внешнего по отношению к человеку мира, так и внутреннего, психологического мира.

Тезис о *детерминирующей роли стремления к полноте жизненных актов* в форме указанной психологической триады «знание – эмоция – действие» объясняет многие парадоксальные явления повседневной жизни. Отметим также, что конативная (поведенческая) часть триады может существовать как потенциально достижимая, создавая иллюзию полноты.

Рассмотрим это на примере одного из оберегов (оберег дома): «Когда одна остаешься дома ночевать, надо сказать три раза: Господи, благослови, Христос! Домочек-избушечка, Окладны бревешечка, Наокруг домочка, Наокруг дворочка Крыша медна, Тын железный, Ограда каменна. Анделы в окошко, Богородица во двери. Сам Иисус Христос В большом углу

сидит Со анделами, Со арханделами» (Обереги и заклинания..., 1993, с. 23). Особый ритм, тональность, подбор слов и звуков, по-видимому, индуцируют состояние уверенности, спокойствия, безопасности. Не вызывает сомнения психологическая, психотерапевтическая направленность данной процедуры.

Конечно, не все выработанные в народном опыте формы «культурной защиты» имеют психотерапевтический характер. Необходим специальный функционально-психологический анализ устойчивых (в прошлом или настоящем) форм культурной жизни общества с рассматриваемых позиций. В этнографии и фольклористике эта линия анализа, к сожалению, явно не представлена. Между тем отмеченный выше принцип полноты обнаруживается во многих «произведениях» народной педагогики.

Рассмотрим для примера следующий оберег от криков у младенца. «Если ребенок очень часто кричит, то с ним выходят на улицу три зори и, обращаясь по вечерам на запад, а по утрам на восток, говорят: Заря-зарница, красная девица! Возьми от младенца такого-то крик, а дай ему некрик. Произносят трижды» (Обереги и заклинания..., 1993, с. 57). Синхронная актуализация аффективного и конативного (действенного) компонентов в данном обереге, вероятно, позволяет преодолеть негативное психическое состояние досады, раздражения от безуспешности применения других средств.

Каков спектр выработанных в народном опыте средств психологического, педагогического (психотерапевтического) воздействия (взаимодействия)?

Обращаясь к работам историков, памятникам культуры, фольклорному наследию, этнографическим описаниям, можно констатировать, что этот спектр широк, и выявить большое разнообразие соответствующих словесных форм. Это, в частности, колыбельные песни, пестушки, потешки, заклички, приговорки, прибаутки, небылицы, считалки, игры, скороговорки, загадки, сказки, эпическая поэзия, розыгрыши, дразнилки, страшилки, заклинания, гадания, протяжные песни, трудовые песни, драма-

тические сценки и ярмарочные шутки, вежество (правила поведения), заговоры, обереги, запуки, игрушки, орнаментика, карнавал, хороводы, колядки и др. Особо отметим недавние исследования В.М. Приваловой, посвященные проблеме орнаментики (Привалова, 2007)

Можно говорить о целой системе народных средств психологического и психотерапевтического воздействия, поддающихся определенной структуризации. Один из подходов, иллюстрирующий вышеобозначенный принцип полноты, может быть использован для микро- и макроанализа поведения отдельного человека, социальных групп и общностей.

Когнитивная составляющая народной педагогики и психотерапии более или менее полно представлена в пословицах и поговорках, сказках, преданиях и т.д. Эмоциональное взаимодействие взрослых и детей «ритуализировано» в заговорах, оберегах, колыбельных песнях и др. Следует отметить взаимный характер влияния рассматриваемых культурных форм на участников. Так, исполнение колыбельной песни, ее особая тональность, звуковая специфика и прочие характеристики позволяли женщине-матери, часто измученной многочисленными обязанностями и сложностями жизни, погрузиться в особое состояние, позволяющее переносить трудности и радоваться малому, – состояние терпеливости, светлой печали, надежды. Психосемантический и фоно-семантический анализ колыбельных песен и других вербальных форм, несомненно, составляет одну из интереснейших задач.

Удивительное явление народной педагогики представляют исчезающие сегодня пестушки и потешки. То, что современная возрастная и практическая психология конструирует как психоразвивающие средства, издавна существует в разных вариациях фольклорных текстов. Например: «Когда ребенок проснется и потягивается, его гладят по животу, ручкам и ножкам, приговаривая: Потягунюшки, поростунюшки! Роток – говорунюшки. Руки хватунюшки, Ноги – ходунюшки» (Обереги

и заклинания..., 1993, с. 58). Сочетание тактильных и вербальных воздействий в их связующем сочетании, фиксация озвучивания и тактильного означения, несомненно, представляет форму опережающего обучения.

Целая серия потешек направлена на развитие психомоторной координации в сочетании со смысловой номинацией, обучением дифференциации, сериации, счету и т.д. Приведем для примера две потешки. Перебирают по очереди пальцы ребенка и приговаривают: «Большаку дрова рубить (большой палец), А тебе воды носить (указательный палец), А тебе печь топить (безымянный), А малышке песни петь (мизинец), Песни петь да плясать, Родных братьев потешать». Перебирают пальцы и при этом говорят: «Идут четыре брата навстречу старшему. Здравствуй, большак! – говорят. Здорово. Васька-указка, Мишка-середка, Гришка-сиротка, да крошка Тимошка» (Антология педагогической мысли ..., 1985).

Анализ многих детских закличек и приговорок показывает их социально-смысловую или практическую направленность: «Дождик, дождик, пуще – Дай хлеба гуще!».

Обучение взаимодействию, борьбе, сотрудничеству, партнерству и т.д. в естественной игровой форме осуществляется в целом ряде, к сожалению, забытых или забываемых игр (горелки, гуси-лебеди и волк, селезень и утка и т.д.). Современная игровая психотерапия и психокоррекция как у детей, так и у взрослых не использует, как говорится, и десятой доли народного опыта.

Общеизвестно значение скороговорок, головоломок, загадок, считалок, дразнилок, страшилок и т.п. для речевого, интеллектуального и личностного развития детей. В сюжетах многих сказок важное место занимают короткие докучные истории. Эта форма весьма искусно использована в историях о Шише Б. Шергина.

Важно также отметить хронологическую определенность жизненных событий человека от рождения до смерти (в системе

когнитивной и эмоционально-действенной полноты), выстроенную в культурно-преемственную «линию жизни». В годовом цикле, это календарные песни и действия; в возрастном плане – хороводные песни и игры юности и любви; свадебные, семейные обряды и т.д. Свое определенное функциональное место в жизненном ряду культурных форм как способ моделирования будущего (своеобразный социально-психологический механизм акцепции потребного будущего) занимают гадания. В парадоксальной форме эта акцепция может производиться даже с новорожденным, который, взрослея, узнает о том, как удалось «перехитрить» судьбу, подменив настоящее бедствие мнимым. Такая своеобразная игра в прятки с судьбой, по описанию Дж. Фрэзера, имеет (имела) место на Мадагаскаре.

Судьба каждого человека, по местным верованиям, определяется днем и часом его рождения, и если они неудачны, то бед, грозящих этому человеку, можно избежать лишь путем их «извлечения» и «замены». К примеру, человек родился в первый день февраля, и когда он вырастет, у него, по поверью, обязательно сгорит дом. Друзья новорожденного стремятся заранее предотвратить катастрофу; они строят сарай и сжигают его. Мать с новорожденным следует посадить в сарай, поджечь его, а затем вытащить их оттуда, пока сарай не обрушился.

Подобная индальгенция от домашних пожаров на всю жизнь – немаловажный фактор оптимизма и уверенности в жизненном благополучии. А если благополучия нет, то предусмотрен другой способ преодоления внутреннего диссонанса. В частности, можно легко избавиться от «клейма» бедности, купив пару дешевых жемчужин и зарыв их в землю. Ведь только поистине богатые люди могут позволить себе роскошь сорить жемчужинами (Фрэзер, 1984, с. 42).

Совокупность выработанных в опыте народной жизни способов психологической регуляции (и саморегуляции) поведения может быть названа системой, если она удовлетворяет требованию полноты. Это условие предполагает учет известных

признаков социально-экономической жизни этноса, а также культурную форму реагирования на случайные флуктуации как глобального (природная стихия, войны и т.д.), так и частного, индивидуального порядка (непредвиденные сложности, несчастья и др.). Можно предположить, что для «психологической работы» со случайностями глобального характера были выработаны механизмы мифотворчества и мифологизации сознания (когнитивная и, отчасти, аффективная составляющая). Случайности частного, индивидуального характера преодолевались механизмами последствия. Например, жители Пруссии говорили: «Если вы не можете поймать вора, нет ничего лучшего, как взять одежду, которую тот потерял во время бегства; если вы ее изрядно поколотите, вор заболеет» (там же).

Сочетание тех и других средств (мифологемы и ритуалы) в одной культурной форме делает ее более психологически эффективной и устойчивой во времени. Этим, в частности, отличается система религиозного оформления жизни.

В рассматриваемом плане (сочетание познавательного, эмоционального и действенного компонентов) весьма показательной была реакция русской православной Церкви на акцию «Волга-92», организованную Миссией «Европа» с целью проповеди Евангелия в Санкт-Петербурге и 12 городах Поволжья, включая Самару. Камнем преткновения, определившим отрицательную позицию (и неучастие) русской православной Церкви в этой акции оказалась форма заключительного призыва пастора Калеви Лехтинена к слушавшим его проповедь (призыв ко всем, кто уверовал, подойти и коснутся подиума) (Самарские известия, 1992, с. 4). Таким образом, обращение в другую (неправославную) веру считается неполным (не свершившимся) без определенного завершающего (физического) действия.

В светской системе образования очень часто не учитывается эта, действенная сторона познавательной активности учащихся (речь идет о вполне определенных, релевантных целям и содержанию образования, действиях внешнего плана).

В связи с вышеизложенным в целях предупреждения абсолютизации в использовании рассматриваемого принципа важно заметить, что реализация на практике как современных педагогических, так и традиционных средств народной педагогики может быть прямой и косвенной. В первом случае цель, содержание и средства педагогического воздействия строго соответствуют друг другу. Во втором – цель достигается с помощью некоторым отвлеченным содержанием. В качестве примера приведем две одноцелевые «запуки»: «Природу надо не увечь, а беречь!», «Кто разорит гнездо ласточки – у того будут веснушки» (Антология педагогической мысли..., 1985, с. 49).

Духовность и культура

Делись со мною тем, что знаешь...
(К*Из Шиллера. М.Ю. Лермонтов)

Длительное время понятия «душа», «духовность» были изгнаны из отечественной научной и публицистической лексики. Исключалась сама возможность их употребления в системе общего образования даже как цели направленного процесса формирования духовного мира личности. Научное представление о душе совпадает с понятиями «психика», «сознание», «внутренний мир», «переживание». Отдельными проявлениями психики (сознания) выступают внимание и память, эмоции и чувства, ощущения и восприятие, мышление и воля. Эти свойства образуют круг «душевных» качеств. Сложности возникают при стыковке научного и обыденного представлений о душе. Действительно, не всякого человека мы называем душевным, духовным, но, очевидно, каждый обладает всеми приведенными выше качествами души.

Известно, что обыденное или художественное в деталях богаче, конкретнее, чем научное. Последнее развивается, открывая в житейском новые грани. Таких граней или признаков души три: стремление к истине и соответствующее познание окружающего мира; стремление к добру и осуществление добра (альтруизм); сострадание, сочувствие и сопереживание (П.В. Симонов, П.М. Ершов, Ю.П. Вяземский, 1989). Таким образом, с некоторой моральной «добавкой» понятие «психика» обретает также статус научной категории души.

Прилагательные «духовный» и «душевный» семантически не совпадают. П.В. Симонов понимает духовность как стремление к истине, а душевность – как стремление к добру, Иное решение предлагает П.М. Ершов, связывая духовность со стремлением к высокой цели, а душевность – со средствами достижения цели. Такая дифференциация понятий опирается на различие основных жизненных установок личности. Согласно

П.М. Ершову, в жизнедеятельности каждого человека может проявляться или отсутствовать так называемая целевая доминанта жизни. И в том, и в другом случае могут иметь место желание истины, добра и сочувствие, душа в полном значении этого слова. Но, очевидно, что ценность жизненной линии в первом и втором случаях весьма различна.

Сходный оценочный поиск обнаруживается и в проявлениях массового сознания, когда, к примеру, внезапно обрушившаяся лавина анекдотов дискредитирует информационный образ известного лица.

С позиций различения духовности, как стремления к истине, доброте и милосердию ввиду высокой цели и душевности, как проявления тех же качеств в повседневной жизни, понятна распространенная ошибка сравнения поколений: лучше – хуже, «была духовность – теперь нет» и т.д. Ошибка заключается в переводе духовности как сущностного явления, имевшего и имеющего место в любом обществе, в ранг другого, более распространенного явления – душевности. Парадоксально, но обычно недостает не духовности как искания высокой истины и цели, праведного сочувствия и всеобщей доброты, а именно душевности, как повседневного проявления культуры – культуры чувств и отношений, да и культуры знаний. Недаром иллюзия абсолютности своих и относительности чужих идей и взглядов в рамках монопольной идеологии определяла не только формы и средства мировоззренческого воспитания, но и конкретные жизненные судьбы. К сожалению, и сегодня недооценивается значение бытовой культуры: – старая потеряна, новая не сформирована; в культуре отношений господствует утилитарный или статусный подход; в экологической культуре все еще доминирует установка «взять». Еще и сегодня в значительной большой мере недооценивается значение народной педагогики и этикета. Предстоит заново исследовать философское, социальное, политическое, экономическое, психологическое и т.д. значение этикета и церемониала.

Развитие духовности как высшей ценности в сочетании с душевными качествами личности – сложный и многоэтапный процесс. Успех любого подхода определяется учетом познавательной, эмоциональной и действенной сторон сознания человека. Эти важнейшие сферы психического формируются как проявления духовного только в случае их преломления через нравственные состояния истины, милосердия и добра.

Поиск истины как проявление познавательной потребности и самоинициативы личности адекватен морали в условиях открытой государственной системы, когда право на знание, информацию, мнение также организационно гарантировано.

Другая важнейшая задача – развитие эмоциональной культуры, которое предполагает культивацию и интернализацию всех искусств. В силу ограниченности ближайшей среды человека, его жизни и соответствующего жизненного опыта, личность часто лишена возможности испытать достаточно многообразный спектр переживаний, оттенков чувств и разнообразия эмоций. Такую возможность дают формы опосредованной коммуникации: кино, театр, живопись, литература, музыка и т.д. Однако искусство действительно лишь в том случае, если оно сопровождает человека с момента рождения и на протяжении всей жизни. Очень важны в этом плане стихийные (свободные) формы искусства (устное творчество, фольклор и др.), а также ритуализированные события жизни и всевозможные культурные действия (народное гуляние, карнавал, цирк на улицах города и т.д.).

Действенные потребности человека наиболее обобщенно выражаются в возможности выбора. Без предоставления каждому человеку возможности самостоятельно определять свой выбор нет действенного выражения отношения, что является важнейшим условием развития демократии.

II. ПОЭТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

А.С.Пушкин: три измерения гения

Всякий желающий говорить о Пушкине, должен начать с извинений..., что он берется в том или в другом отношении измерять эту неисчерпаемую глубину.

Н.Н. Страхов

Гениальным называют нечто необъяснимое, не выводимое из предшествующего и, конечно, неизмеримое. Но так же обыденно ребяческий восторг привычно уступает место не менее детскому желанию разобрать на части, заглянуть вовнутрь, посмотреть «как это устроено».

Почему три, а не семь или двенадцать? В означенном контексте вопрос звучит также риторично, как и вопрос о любовницах или внебрачных детях гения, интересующий иных читателей более, нежели сама поэзия. Следует ли и это любопытство индугировать известным высказыванием Аполлона Григорьева «Пушкин – это наше все». Многообразие жизни превосходит пределы *творческого* самовыражения любого отдельного гения? Образ эха или капли, отражающей мир, метафорично выражая альтернативную идею, требует, тем не менее, содержательного раскрытия.

Пушкинский гений настолько неохватен, что любые мерки, измерения – более или менее органичные приближения сверхрационального рациональным, проникающей интуиции разумом, неисчерпаемого мира образов – ограниченными средствами логического. По истине «Человек постоянно расширяет пределы выразимого посредством созерцания невыразимого» (В.Тэрнер, цит. по Бейлис В.А., 1983). Вместе с тем, как отмечает В.П.Зинченко со ссылкой на Г.Г.Шпета, «измерение есть

средство осознания, осмысления, разоблачения тайны...» (Зинченко, 2010, с. 353).

Один из аспектов значения творчества Пушкина представлен в не потерявшем актуальности высказывании С. Франка: «Весь трагизм духовного пути России..., в конечном счете определен тем, что завет Пушкина был забыт и отвергнут», то есть «расхождением между Пушкиным и русским сознанием» (Франк, 1990б, с. 494–497).

В предельно обобщенных категориях многообразие сущего отчетливо проявляется в пространственно-временном и духовном (психическом) измерениях. Пушкин в своем поэтическом творчестве нашел, определил *концентрированные формы знаково-эмоционального выражения пространства, времени и человеческого Я*.

Не затрагивая филологических вопросов пространства поэзии Пушкина, можно говорить о поэтическом пространстве, в котором отчетливо просматриваются, в свою очередь, такие структурные образования, как физическое, социальное и духовное (ментальное) субпространства. Причем в каждом из составляющих поэтического пространства Пушкина мы находим удивительное разнообразие сюжетов, борьбу противоположностей, стремление к гармонии (Хайдеггер, 1991).

Пушкин преодолел весьма значительные и по нынешним временам расстояния. Подсчитано, что он проехал в общей сложности 34750 км, больше чем известный путешественник Н.М. Пржевальский. Громадное пространство России, ее многообразные природные условия и ландшафты служили для него источником не только поэтического вдохновения, но и философско-психологического осмысления жизни. «Моя душа расширилась: я чувствую, что я могу творить» – из письма Н.Н. Раевскому (Жизнь Пушкина..., с. 651). «Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин поразил его, он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях» – писал Н.В.

Гоголь (Жизнь Пушкина..., с. 68–69). «Пушкин удивительно остро чувствовал дух той местности, где он писал, и очень точно передавал его в своих произведениях» – отмечает Д.С. Лихачев (Лихачев, 1984, с. 9).

Во всем многообразии сюжетов внешнего, физического пространства тема пустыни особенно часто ассоциируется с собственным, личным пространством поэта, в которое он неизменно возвращается: «Пустынный уголок, ... приют спокойствия, трудов и вдохновенья» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 351) вмещает в себя и «мирный шум дубров» и «тишину полей». К пяти приведенным в пушкинском словаре (Словарь языка Пушкина, 1956–1961, т. 3, с. 887–888) значениям слова «пустыня» можно, на наш взгляд, присовокупить также пушкинский смысл пустыни как места с иным порядком вещей, жизни; порядком, отличным от порядка внешнего пространства и образующим внутреннее, поэтическое пространство Пушкина. Это пространство величавого уединения и тишины, свободное от «суетных оков» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 251) и «жизни мышшей беготни» (Пушкин, 1950, т. 3, с. 59).

В поэтическом пространстве Пушкина органично сопряжены физическое, социальное и ментальное субпространства. Инварианты этих сопряжений представляют серьезную задачу для исследователя. Можно вместе с В.О. Ключевским представить поэзию Пушкина как форму «русского народного отзвука общечеловеческой работы по внесению нравственного порядка в анархию людских отношений» и как попытку «овладеть всем поэтическим содержанием мировой жизни, и восточным, и западным, и античным и библейским, и славянским, и русским» (Ключевский, 1991, с. 112).

Социальное субпространство поэтического пространства Пушкина менее всего «заселено» официальными, статусными «единицами». В нем присутствуют царь (император) и толпа (чернь); относительно благополучные страны, где закон простирает власть «граждан над равными главами» (Пушкин, т. 1, с.

315) и «стада», которым «не нужен дар свободы» (Пушкин, т. 2, с. 158). И если центром (системообразующим признаком) физического субпространства является пушкинское представление о пустыне, то центр социального субпространства – поэтическое служение свободе, порой с весьма резкими оценками («Ярмо с гремушками да бич» – Пушкин, 1950, т. 2, с. 158) и функциями («Глаголом жги сердца людей» – Пушкин, 1950, т. 2, с. 340).

Рассматриваемая исследователями личностная типология в произведениях Пушкина концентрируется главным образом на характере Онегина. Универсальность этого типа утверждалась еще В.О. Ключевским. Онегин, по В.О. Ключевскому, – это тип человека, который в разных поколениях являлся в чрезвычайно «разнообразных видах» (Ключевский, 1991, с. 103). Главное противоречие личности этого типа знаменитый историк видит в том, что, «родившись русским и решив, что русский не европеец», но обязан стать им, он всю свою активность (жизнь) устремляет к решению вопроса «как сделаться европейцем?» (там же, с. 102–103).

Анализируя пушкинскую «коллекцию художественно-исторических портретов» (Троекуров, Верейский, Дубровские, Гринев и др.), В.О. Ключевский приходит к выводу, что все они изображают один и тот же определенный им тип в различных видоизменениях. «У Пушкина, – считает В.О. Ключевский, – находим довольно связную летопись нашего общества в лицах за 100 лет с лишним» (там же, с. 106).

Переходя к ментальному субпространству, уместно привести высказывание И.С. Аксакова о том, что «поэтическое откровение определило работу нашего народного самосознания и разрешило задачу, до теоретического разрешения которой мысль и наука только теперь дорастают» (Аксаков, 1981, с. 268). К заслугам Пушкина И.С. Аксаков, помимо описания русского быта, относит то, что Пушкин впервые поэтически выразил русский характер. Его отличительные черты: простота, искренность, теплота и ирония в уме, свобода, отсутствие позы, рисов-

ки. Этому характеру не свойственно нянчиться, носиться с своим Я (там же, с. 273).

И.С. Тургенев, определяя признаки национальных (Гомер, Гете, Шекспир) и народных поэтов, как полных выразителей народной сути, отмечает «два основных начала» народной жизни всякого народа: восприимчивость и самодеятельность, – и специфику их проявления в России (Тургенев, 1981, с. 135). Русская восприимчивость, согласно И.С. Тургеневу, двойственна: на собственную жизнь и на жизнь других, западных народов. Русская самодеятельность неравномерна, порывиста; «ей приходится бороться и с чуждыми усложнениями и с собственными противоречиями» (там же, с. 135).

Гений Пушкина объединял противоположности. В связи с известной речью Ф.М. Достоевского, Н.Н. Страхов отмечает, что «он (Достоевский) нашел формулу, которая объединяла стремления западников и славянофилов, направляя их к общей высшей цели» (Страхов, 1983, с. 179). Определенное уточнение этой идеи содержится в высказывании Аполлона Григорьева: «Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным, после всех столкновений с чужими, с другими мирами,... очерк нашей народной личности,... контурный образ нашей народной сущности» (Григорьев, 1988, с. 78–79).

Важным представляется замечание В.О. Ключевского о том, что Пушкин видел народность не «в особенностях языка, не в выборе предметов из отечественной истории, а в особом образе мыслей и чувствований». Ключевский считает, что впервые духовный облик русского человека обозначился в поэзии Пушкина, в ее тоне и настроении, «в свойстве и сочетании основных мотивов, ее вдохновляющих, во взгляде поэта на жизнь, во всем складе его мирозерцания» (Ключевский, 1991, с. 113).

Можно предположить, что центр ментального субпространства поэтического пространства Пушкина инициируется явлениями поэтического (языкового) самосознания.

Таким образом, поэтическое пространство Пушкина по своим центральным элементам может быть определено как некий мир с особым поэтическим порядком вещей (пустыня), с социальными приоритетами свободы, ментальной установкой самосознания, самопостижения (Белинский, 1983, с. 496).

Поэтическое время Пушкина может быть также структурировано как единство исторической, социальной и биографической временных составляющих.

По выражению И.С. Тургенева, в Пушкине прошедшее жило «такою же жизнью, как и настоящее, как и предсознанное им будущее» (Тургенев, 1981, с. 139).

«История, как и фольклор, – пишет Ю.М. Лотман, – оказывается для Пушкина путем к познанию народной психологии, а историческое прошлое, изученное без романтической предвзятости, – средством познания настоящего» (Лотман, 1981, с. 127).

Пушкинское поэтическое время в его исторической и социальной составляющих – настолько значимый момент российской истории, что В.О. Ключевский считает возможным выделить в качестве двух важнейших эпох в движении русского самосознания эпоху Петра I и эпоху А.С. Пушкина.

В синхроническом взаимодействии крайностей (глобальное – локальное, столица – провинция, император – поэт) пушкинское поэтическое слово эмоционально выражало интеллектуальные усилия образованной элиты России гармонизировать противодействие исторически сложившейся реальности – осуществляемой идее. Идея Петра I имела глобальный характер. Со смертью императора она утратила свое силовое обеспечение. Противостояние абсолютного и конкретного перешло в плоскость борьбы идей. В духовном смысле Петр I и Пушкин относятся к двум разным эпохам. Основание для такого разнесения, очевидно, в переломном характере преобразовательной политики, экономики, социальной жизни, осуществленных Петром I, и преобразований духовной (психологической) жизни, состоявшихся благодаря Пушкину. Неизменный исторический парадокс

России, по-видимому, состоит в том, что преобразования первого рода осуществляются с большой долей искусственности, а второго рода – естественно и органично. Фактор времени, или сензитивности, говоря психологическим языком, и в том и в другом случае является существенным. Действительно при исследовании движения устремленности России с Востока на Запад могут учитываться материальные и духовные факторы. Гений Пушкина сказался не только в духовном выравнивании движения (пушкинская Россия), но и в осознании необходимости, с одной стороны, и трагичности, с другой, силовых средств движения (Петровская Россия), а главное – в попытках установления гармоничного их сочетания. Как отмечает Т.К. Рулина, в лирическом творчестве Пушкину удалось синтезировать культурные паттерны двух цивилизаций, продемонстрировав тем самым способность русского самосознания к преображению исторической наследственности (Рулина, 2002, с. 79).

Другим парадоксальным моментом российской истории, на наш взгляд, является то, что трагично не только принудительное ускорение исторического времени (реформы Петра); определенные отрицательные последствия в социальном и личностном плане несет и духовное ускорение. Поэтический «прыжок» Пушкина из конца XVIII в. начало XX в. оставил большинство коллег по ремеслу и их читателей перед пропастью еще современных, но уже негодных поэтических, языковых, духовных средств и в состоянии непостижимости средств, обеспечивших взлет Пушкина. Пушкин в отличие от большинства его современников в поэтическом воображении жил в другом социальном времени. В качестве образной аналогии всей остроты и трагичности этого различия можно рассмотреть пушкинские фигуры Моцарта и Сальери.

И.В. Киреевский выделяет в русской литературе XIX в. три периода: карамзинский (итальянско-французское влияние), период Жуковского (немецкое влияние) и пушкинский период с первоначальным влиянием Байрона (Киреевский, 1979, с. 43–

53). Однако, как отмечает В.Г. Белинский, «русская литература познакомилась и сошлась с европейскою сентиментальностью почти в ту самую минуту, как Европа навсегда рассталась с своею сентиментальностью» (Белинский, 1983, с. 201). В Европе сентиментальность сменила феодальную грубость нравов; у нас она должна была сменить остатки грубых нравов допетровской эпохи» (там же). Согласно В.Г. Белинскому, книжный характер литературы Сумарокова, Тредиаковского и др. сменился моментом изображения непосредственного переживания в произведениях Карамзина, Жуковского и др.

Характеризуя новый период русской литературы, начало которому было положено Пушкиным, Добролюбов утверждает, что «после Пушкина уже не могло удовлетворять простое изображение предмета; от поэта требовали, чтобы он дал смысл описываемым явлениям, чтобы он умел схватить в своих творениях не одни видимые отличия предмета, но и самый его внутренний характер» (Добролюбов, 1984, т. 1, с. 39). «Пушкин долго возбуждал негодование своей смелостью находить поэзию не в воображаемом идеале предмета, а в самом предмете, как он есть» (Добролюбов, 1984, т. 2, с. 35).

Стремительный отход русской поэзии от «облимоненных разными сантиментами и подсахаренных утонченным изяществом» (там же) описаний, при всех позитивных оценках ускоренного приближения к уровню мировой культуры, несет в себе одновременно определенные потери. Преждевременный отказ от тех или иных господствующих поэтических форм, неполное использование всех возможностей этих форм создают не только пробелы в линии художественного развития общества, в развитии способности длительного произвольного усилия, связанного с ограничениями формы, принятием условности и др. Как отмечает А.Н. Островский, «умственный рост» русской литературы в связи с творчеством Пушкина был «так велик, так быстр, что историческая последовательность в развитии литературы и об-

щественного вкуса была, как будто, разрушена и связь с прошедшим разорвана» (Островский, 1986, с.151).

По мнению А.Н. Островского, Пушкин положил начало освобождению «нашей мысли» от условности формы. До него писатели должны были избирать какой-нибудь условный угол зрения, настроиться на какой-либо лад. Пушкин первый стал относиться к темам своих произведений прямо, непосредственно и «завещал искренность, самобытность... каждому быть самим собой» (там же, с. 151).

В пушкинском социальном времени восприятие читателя организовано автором таким образом, что произведение и автор находятся в определенных смысловых связях и их актуализациях. Что же касается социального времени современников Пушкина, то оно оказывается переходным от классического восприятия произведения «вне связи» с автором к романтической парадигме восприятия произведения через ту или иную позицию автора. Ю.М. Лотман считает, что «два лица поэта (Я – романтик и Я – реалист)» у раннего Пушкина – на следующем этапе творчества слились в одно (Лотман, 1981, с. 77). Таким образом, социальная составляющая поэтического времени Пушкина была тесно связана с биографической временной составляющей.

Биографичность произведений Пушкина – проблема, которой занимались очень многие исследователи (М.О. Гершензон, В.Ф. Ходасевич, Б.В. Томашевский, В.В. Вересаев и др.). Однако, определяя фактологическую основу тех или иных произведений, исследователи в общей картине специально не фиксировали оценку и восприятие Пушкиным биографического времени. Наиболее обобщенный поэтический образ этого времени представлен в стихотворении «Телега жизни» (1823). Здесь протяженность – в «седом времени», а жизнь – в движении (Пушкин, 1950, т. 2, с. 160). Из трех отрезков: утро, под день и вечер – первое, очевидно, ассоциируется с юностью, второе – с серединой жизни или зрелостью, последнее – со старостью.

Время присутствует в поэтическом сознании Пушкина многоаспектно. Это и короткие интервалы, отчетливо звучащие в поэтическом ходе ночных часов, воспринимаемых как «скучный шепот» – «Укоризна или ропот Мной утраченного дня?» И далее: «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу...» (Пушкин, 1950, т. 3, с. 59). Это и «летающие за днями дни», «и каждый час уносит частичку бытия» (Пушкин, 1950, т. 3, с. 239). Это и десятилетия, обнажающие переменчивость жизни и сознаваемой собственной перемены, своего потенциального небытия и отношения к поэту последующих поколений («Вновь я посетил», 1835).

Любопытны возрастные характеристики различных периодов жизни. Так, юность сочетается с весельем, безумием, легкостью («простимся дружно, О юность легкая моя!»). Юношеское воображение шутивно-поэтически обыгрывает конечность жизни, идею смерти и отмечает три характерные особенности «поэта резвости», который «провел веселый век»: молодая муза («резвые стихи») (Пушкин, 1950, т. 1, с. 154), любовь и лень («Моя эпитафия», 1815). Хотя прощание с юностью было спокойным и легким («Я пережил свои желанья...»; «Я стал доступен утешенью»; «Мне вас не жаль, года весны моей...»), однако важность этого «утреннего» периода жизни Пушкина трудно переоценить. Здесь утверждалась доминанта всей жизни, ее главные ценности, выбор, принятие, эмоциональное и интеллектуальное овладение теми из них, что ощущались как страстно желаемые («К другу стихотворцу», «Батюшкову», «Мечтатель» и др.). Так, в обращении к Музе, поэт восклицает: «О будь мне спутницей младой до самых врат могилы» («Мечтатель», 1815) (Пушкин, 1950, т. 1, с. 125); в другом месте: «Дана мне лира от богов», «Прелестна сердцу тишина; нейду, нейду за славой», «Лира мой удел» (Пушкин, т. 1, с. 244), «Решился я – без страха в трудный путь» («К Жуковскому», 1816) (Пушкин, 1950, т. 1, с. 193).

Поэтическое выражение биографической временной сложности, неоднородности и цельности жизненных стремлений в период зрелости («полдень») сконцентрировано в лирике 1826–1830 гг. Сравним выражение общего поэтического состояния 1826 г. «С ясною душою пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой отдохнуть». Но уже через недолгое время – целый ряд стихотворений 1828 г. другого характера: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?», «...Цели нет передо мною...» (Пушкин, 1950, т. 3, с. 61); «Каков я прежде был, таков и ныне я» (Пушкин, 1950, т. 3, с. 88); «И с отвращением читая жизнь мою» (Пушкин, 1950, т. 3, с. 59).

Переоценка жизни не связана с жизненным призванием, поэтическим творчеством; более того, оно оказывается неизменным (вневременным) и главным центром поддержания устойчивости душевного состояния поэта в периоды тяжелых жизненных испытаний: В этих ситуациях поэтическая идентификация – спасительный якорь жизни. В этот же период жизни написаны стихотворения «Поэту» («Поэт! не дорожи любовью народной»), «Мадонна», «Бесы», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье»). Темы призвания, любви и смерти, неизменные в лирике Пушкина во все годы творчества, приобретают в этот период (июль-сентябрь 1830 г.) острое эмоциональное звучание, особенно тема смерти. В последующие годы эта острота смягчается философским осмыслением («Вновь я посетил», 1835; «Была пора, наш праздник молодой...», 1836).

Измерения души, или Я-концепция поэта. «Но что такое душа? У нее нет ни взора, ни мелодии...» – спрашивает поэт (Из письма к К.А. Собаньской, 2 февраля 1839 г.) (Жизнь Пушкина..., т. 2, с. 276). Вспомним «виждь и внемли» (для зрения – существенны пространственные характеристики мира, для слуха – временные). У Ключевского находим следующую характеристику Пушкина: «Необъятное протяжение поэтического голоса..., необычайная восприимчивость и гибкость поэтического понимания, умение проникать в самые разнообразные людские

положения, вживаться в чужую душу, всевозможные мирозерцания и настроения, дух самых отделенных друг от друга веков и самых несродных один другому народов...» (Ключевский, 1991, с. 111). «Изумительную чуткость,... способность по произволу принять тон и склад какого угодно писателя» – отмечает Н.Н. Страхов (Страхов, 1983, с. 145, 152). Объективность Пушкина, его «способность постигать предмет в нем самом, как он действительно есть...» отмечает И.С. Аксаков (Аксаков, 1981, с. 276).

«Безграничную широту духа», «универсализм духовного мира», бесконечность сложности и богатства гармонии духовного мира Пушкина подчеркивает С. Франк. В многослойном духовном мире Пушкина он выделяет поверхностный и подповерхностный слои, противоположные по содержанию и направленности движений: жизнерадостность – тоска, любезность и простодушие – культ гордого одиночества. Третий слой, по мнению С. Франка, – это «примиряющая, по существу уже религиозная духовность» как выражение трагедии нравственного сознания и мук совести, т.е. «очищающее сознание» (Франк, 1990а, с. 422–452).

В то же время основной принцип мировоззрения Пушкина, считает С. Франк, примирение с жизнью, любовь к жизни, так как «нет истины, где нет любви» (из пушкинской оценки творчества Радищева). По мнению С. Франка, позиция «битвы» не соответствовала основной духовной установке Пушкина. «Установка *сочувствия* всему живому на земле» или «*благоволения*», – вот «основная установка» Пушкина, в то время, как «русское сознание после Пушкина пошло... по пути негодования на мировое зло, обличения зла и борьбы с ним (Гоголь, Лермонтов, Достоевский)» (там же). Список имен, на наш взгляд, весьма уместно было бы дополнить именем Дж. Байрона.

«Негодование, не просветленное любовью, превращается в чистую злобу и ненависть» – отмечает С. Франк. Поэтому без пушкинской духовной установки, установка борьбы и обличе-

ния трансформируется в чистое зло и теряет свою правомерность (Франк, 1990б, с. 494-497).

Одной способности видеть, слышать, замечать, постигать вовсе недостаточно для объяснения всей грандиозности поэтического Я. Этому духу, этому поэтическому Я должны соответствовать вполне определенные состояния, стремления и свойства личности поэта. Парадоксально, но невозможно не заметить: в пьесах (лирика) Пушкина состояние лени переживается как главное условие поэтического творчества. Однако пушкинское понятие лени, как и соотносящееся с ним понятие пустыни, несколько отличается от распространенного значения своим особым, личностным (пушкинским) смыслом. Для прояснения этого смысла обратимся к рассыпанным во множестве в стихах поэта производным от лени словосочетаниям и выражениям: «философом ленивым» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 92), «мудрец ленивый» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 120), «Позволь мне полениться» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 142), «Под сенью лени неизвестной» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 154), «луга, измятые моей бродящей ленью», «посох томной лени», «задумчивая лень», «сон ленивый» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 122), «Счастливой лени верный сын» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 154), «забав и лени золотой» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 360), «клоно мирной лени» (Пушкин, 1950, т. 2, с. 201), «моей свободной лени» (Пушкин, 1950, т. 2, с. 8), «ленивая дремота» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 168), «наслажденья лени сонной» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 518) и др.

Обращение к «Словарю языка Пушкина» показывает, что в нем неполно описаны пушкинские смысловые акценты, связанные со значениями слова «лень» в лирике Пушкина. Одно из значений определяется как нежелание что-нибудь делать, склонность к праздности; состояние праздности, безмятежного покоя, неги, вялости, безразличия; другое – не хочется, неохота (Словарь языка Пушкина, 1956–1961, т. 2, с. 470).

Более широкое смысловое значение лени у Пушкина обусловлено, на наш взгляд, противопоставлением лени состоянию

занятости житейскими делами, мирскими заботами, суетой. В этом плане *лень можно определить как состояние открытости души, как предвестницу вдохновенья*. Праздность и лень – неизменные спутницы поэзии в пространстве пушкинской поэтической пустыни («в уединенье величавом», «живая тишина», «от суетных оков освобожденный») (Пушкин, т. 1, с. 251).

Пустыня, как мы отмечали, – это иной, отличный от реального, реально-ирреальный мир, со своим порядком вещей, явлений, создаваемый поэтом в условиях социальной изоляции. В этом мире сон и лень – хотя и не тождественные, но очень близкие состояния. Цитируем стихотворение «Сон» (1816): «Приди, о лень! приди в мою пустыню...», «В одной тебе я зрю свою богиню...», «Учи меня, води моей рукой» (Пушкин, 1950, т. 1, с. 184–185).

Если условиями актуализации поэтического Я являются поэтическая лень и гармония (Муза), то движущей силой этой активности, несомненно, выступает стремление к свободе. «Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существа», – отмечает Г. Федотов. Эта тема очень рано и вполне осознанно определилась в творчестве Пушкина («Бреду своим путем...») как в целостном ее выражении, так и в различных составляющих: политическая, экономическая, социальная, пространственная, временная, личностная, поэтическая, творческая и др. виды свободы – в последующие годы. Малейшие ограничения свободы настолько остро переживаются Пушкиным, что граничат с полным отказом (в поэтической проекции) от читательской аудитории:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства возданья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!

(Пушкин, 1950, т. 2, с. 190)

В поэтическом соотношении самых тяжелых лишений, таких как потеря крова, нищета, наемный труд, голод и безумие, поэт, признавая наибольшую катастрофичность последнего, тем не менее, находит и в сумасшествии целый ряд положительных сторон, вся заманчивая совокупность которых, однако, не замещает единственно самого ценного – свободы («Не дай мне бог сойти с ума...»).

И.А. Ильин определял «великое задание» Пушкина в том, «чтобы духовно наполнить и оформить русскую душевную свободу». К составляющим русской душевной свободы, в которых, по мнению И.А. Ильина, «расцвел талант и гений Пушкина, и расцвел, их наполнил, оформил и освятил», он относит:

- простор души, отрицательной стороной которого может быть чужеродное наполнение;
- созерцательность, в негативном варианте приводящая к лени, сонливости, пассивности;
- творческая легкость, сопряженная с пренебрежением к труду, надеждой на «авось», «как-нибудь»;
- сила страсти, чреватая опасностью бездуховности и противоразумности, личного своекорыстия;
- свобода мечты, потенциально перевоплощающаяся в прозрачную свободу, мечтательность;
- детскость, выражающаяся в преодолении страдания юмором и прожигании быта смехом (Ильин, 1990, с. 328–355).

Важную линию связи формы управления людьми (империя) и свободы определяет в творчестве и жизни Пушкина Г. Федотов. Синтез между общественными ограничениями и свободой, который легко дался Пушкину, «был почти неосуществим после него». Г. Федотов прослеживает динамику личностно-смыслового содержания свободы в творчестве Пушкина: от своеволия разгула (лицейские и ранние петербургские годы); через протестное творчество («Вольность») и критическое осмысление («Цыганы») – к свободе творческого духа с утратой ее страстного, дионисического характера; к обретению «покоя и

воли» («Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать...») (Федотов, 1990, с. 356–375).

Можно утверждать, что сознание Пушкина было абсолютно свободным. Другое дело, что известные ограничения – цензурные, светские и др., вынуждали поэта находить те или иные поэтические формы и средства выражения своей свободы. И если в эпиграммах поэт дает прямой эмоциональный поэтический отклик на те или иные события и персоны, то в пушкинском пародировании мы находим все ту же гармоничную «красоту душевных чувств» (Словарь языка Пушкина, 1956–1961).

Несомненно, что творчество Пушкина в высшей степени контекстно. Многоплановость и многомерность контекстов творчества Пушкина и Лермонтова рассматривает Е.Г. Эткинд. В наложении контекстов («лестница контекстов») могут просвечивать разные уровни – от общезыковых (общесловарный) до художественных (литературное направление, эпоха, авторский контекст, контекст цикла стихотворений и др.) (Эткинд, 2001). Разноструктурная сложность контекстуальных построений в произведениях Пушкина отчетливо продемонстрирована в серии работ «О Пушкине» М. Виролайнен. Так, в маленькой трагедии «Пир во время чумы» профессиональный читатель воспринимает: контекст соответствующего замыслу автора перевода заимствованного текста «Город Чумы»; собственный контекст драматической поэмы Вильсона; реальный контекст чумы 1830 г., «которая одновременно является и фактом личной биографии Пушкина, и общим событием русской жизни»; контекст «маленьких трагедий», «цикла, в котором путешествие по культурным эпохам именно в "Пире во время чумы" завершается выходом в открытое настоящее время, предполагающим продолжение сюжета в реальном будущем...»; контекст слова «пир» в соотношении с античностью и современности; и др. (Виролайнен, 2003).

Непонимание контекстности подвело первых критиков пушкинских поэтических псевдоподражаний. Совершенно ина-

че о соотношении оригинальности и подражательности Пушкина судил Н.Н. Страхов. Он так определяет импульс к созданию «Подражаний Данту»: поэтическое чувство Пушкина было оскорблено грубою материальностью картин ада (Страхов, 1983, с. 153). По мнению Н.Н. Страхова, Пушкин не предназначал пародии к публикации, а писал для себя.

Необходимо пояснить также, что определение пародии как глумления не соответствует идее пушкинской пародии. Истинное, высшее понимание пародии – это, по мнению Н.Н. Страхова, фиксация противоречий источника, его неполноты в оценке явления (там же, с. 87). Эту линию интерпретации произведений «Памятник», «Дон Гуан» и т.п. продолжили В.В. Вересаев, Ю.М. Лотман, В. Набоков и др.

Очевидно, что реальный характер и поэтическое характерологическое Я, выводимое из произведений Пушкина, могут существенно отличаться. Однако во множестве известных характеристик они отнесены к единому носителю. Пушкин в письме В.П. Зубкову характеризует себя следующим образом. «Мне 27 лет... Пора жить, то есть познать счастье... Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой – неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно – вот, что иногда наводит на меня тягостные раздумья.. » (Жизнь Пушкина..., 1987, т. 2, с. 62).

И.С. Тургенев отмечает в Пушкине «смесь страстности и спокойствия» (Тургенев, 1981, с. 138). Н.Н. Страхов считает, что Пушкин представляет один из образцов полного душевного здоровья. «Малодушия, – пишет он, – в нем не было и тени; он не мог предаваться сентиментальному унынию, не мог падать духом и изливаться в жалобах. Поэтому проблески страдания, которые мы у него видим, имеют такой сдержанный характер и выразились как будто помимо его воли» (Страхов, 1983, с. 140).

Развернутую характеристику Пушкина выстраивает С. Булгаков (Булгаков, 1990, с. 270–293). Он отмечает непосредственность, детскость поэта, личное благородство, бесстрашие,

духовный аристократизм, способность к верной и бескорыстной дружбе, стихийность и самообладание. И.В. Киреевский связывает индивидуальный и национальный характер Пушкина в одно целое и отмечает «способность забываться в окружающих предметах и текущей минуте. Та же способность есть основание русского характера: она служит началом всех добродетелей и недостатков русского народа; из нее происходит смелость, беспечность, неукротимость минутных желаний, великодушие, неумеренность, запальчивость, понятливость, добродушие и пр.» (Киреевский, 1979, с. 54).

Характеризуя «психологию русского народа с его образом мыслей и чувствований», отраженной «образно и внятно» в поэзии Пушкина, В.О. Ключевский отмечает, в частности, восприимчивость и наблюдательность, трезвый и бодрый взгляд на жизнь, терпение и терпимость, несклонность к сомнениям и неприязнательность, благодарность судьбе за радость и за горе, умение ценить хорошее чужое и шутить над дурным своим, простодушную и задушевную отзывчивость на все человеческое, незлопамятность и осторожность, мирность и примирительность (Ключевский, 1991, с. 113).

Можно констатировать противоположность взглядов на творчество и личность Пушкина, которая периодически получала крайне эмоциональное выражение в противостоянии различных социальных групп. Эти крайности, в частности, оценок Добролюбова, Чернышевского, отчасти Кириевского, с одной стороны, и Белинского, Островского, Ключевского, с другой, смыкаются. Одни, игнорируя контекстность как явление всей культуры, упрекают Пушкина в подражаниях Байрону, Шекспиру, Скотту; вторые – не замечают одного из принципиальных несоответствий между высокой идеей и способом ее воплощения, будь то жизнь отдельного человека, сколь выдающимся он бы ни был, так и в жизни целого народа. Гениальный мечтатель в поэтической пустыне реальную жизнь завершает трагически.

Гениальный тактик в реальной жизни приносит в жертву миллионы людей в угоду привлекательной идеи.

Неизмеримость гения: пространство, время и духовный мир в поэзии М.Ю. Лермонтова

Он был психологом природы.

И. Анненский

Пушкин – радуга по всей земле,
Лермонтов – путь Млечный над горами,
Тютчев – ключ, струящийся во мгле,
Фет – румяный луч во храме.

Вл. Сирин

Пушкин в своем творчестве представил настолько высокие образцы поэзии, что не в одном протекшем столетии творчество любого другого поэта, в случае претензий на значительность, соизмерялось с вершинными произведениями первого поэтического гения России. Тем более не могла избежать сравнительной оценки поэзия Лермонтова, начинавшего еще при жизни Пушкина свое поэтическое и столь стремительное восхождение.

Пушкин и Лермонтов, по определению Д.С. Мережковского, – «два полюса русской поэзии, две позиции – созерцания и действия» (Мережковский, 1991, с. 378-415).

В метафорической интерпретации В. Розанова, Пушкин – лад, гармония; Лермонтов – разлад, движение (Розанов, 1990, с. 191-193).

Притягательность поэзии того или иного автора по истечении времен и в актуальном времени, по-видимому, связана не только и не столько с впервые заявленными в свое время высочайшими образцами поэтического творчества, но и с загадочностью самого внезапно возникшего и столь грандиозного феномена. Любопытно в этом контексте высказывание А. Белого: «Поэт, не занятый разгадкой тайн пушкинского или лермонтов-

ского творчества, не может нас глубоко взволновать» (Торжественный венок, 1999, с. 123).

И. Гончаров, сравнивая Лермонтова с Пушкиным, заключает: «...фигура колоссальная, весь как старший сын в отца, вылился в Пушкина... ступал... в его следы... Лермонтов ушел дальше временем, вступил в новый период развития мысли, нового движения европейской и русской жизни и опередил Пушкина глубиной мысли, смелостью и новизной идей и полета» (там же, с. 100).

«Лермонтов тем, главным образом, отличается от Пушкина, – замечает П. Перцов, – что у него человеческое начало *автономно* и стоит равноправно с божественным. Он говорит с богом, как равный с равным, – и как никто не умел говорить. Именно это и тянет к нему: *человек узнает в нем свою божественность*... Настоящая гармония Божественного и человеческого – момент *совершенства* – только у Лермонтова, а не у Пушкина... » (там же, с. 201-209).

П. Анненков характеризует лермонтовскую поэзию как единственную поэзию, свойственную XIX в., характеризуя ее как отражающую «разорванность, духовную немощь, плачевное состояние совести и духа» (Анненков, 1928, с. 251).

Именно Лермонтову В. Ходасевич приписывает «первый толчок тому движению, которое впоследствии благодаря Гоголю, Достоевскому и Толстому сделало русскую литературу литературой исповеди, вознесло на высоту недосыгаемую, сделало искусством подлинно религиозным» (Торжественный венок, 1999, с. 133).

Характеристика искусства Лермонтова как «подлинно религиозного» может интерпретироваться в двух смыслах. Учитывая сложные отношения Толстого, да и Лермонтова с религией, приписываемая В. Ходасевичем творчеству этих авторов «подлинная религиозность», скорее, может пониматься как культ их искусства, нежели культ их веры в Бога. Богоборчество или «тяжба с Богом» у Лермонтова – особый предмет размыш-

лений Д.С. Мережковского. Парадоксальность мысли: если есть Бог, то как может быть зло? – нашедшая свое разрешение в идее «святого богоборчества» в сюжетах Старого Завета (Иов, Иаков) и Нового Завета – «борение Сына до кровавого пота» (Мережковский), поражала воображение. Заметим в связи с этим, что гармоничный опыт поэтического созерцания на эту тему У. Блейка не нашел аналогичного продолжения в действенной (по Д.С. Мережковскому) богоборческой поэзии Дж. Байрона.

Относительно мотивации богоборчества существует поэтически звучащее богатое смысловыми контекстами высказывание С. Кьеркегора: «Никто не будет забыт из тех, кто был велик в этом мире; но каждый был велик здесь своим особым образом, и каждый – относительно величины того, что он любил. Ибо тот, кто любил самого себя, стал велик через себя, и тот, кто любил других людей, стал велик через свою преданность, но тот, кто любил Бога, стал самым великим из всех. Все они останутся в памяти, но каждый будет велик относительно своего ожидания (Forventhing). Один стал велик через ожидание возможного, другой – через ожидание вечного, но тот, кто ожидал невозможного, стал самым великим из всех. Все они останутся в памяти, но каждый будет велик относительно величины, с которой он боролся. Ибо тот, кто боролся с миром, стал велик оттого, что победил мир, а тот, кто боролся с самим собой, стал еще более велик, победив самого себя, однако тот, кто боролся с Богом, стал самым великим из всех» (Кьеркегор, 1993, с.23). Как видим, разделить поэтическую, социальную и личностную мотивацию весьма непросто.

В непокорности, бунте Лермонтова против Бога, Д.С. Мережковский находит «какой-то божественный смысл». Возможно, этот смысл заключен в художественном наследовании лермонтовской позиции богоборчества (вопреки поэзии созерцания Пушкина) Достоевским (христианский бунт И. Карамазова) и Л. Толстым («языческое смирение дяди Ерошки») (Мережковский). Такая трактовка творчества Лермонтова Д.С. Мереж-

ковским оказалась вне поля исследовательского внимания В.С. Соловьева. Крайне субъективная негативная оценка и неприятие творческого поиска Лермонтова В.С. Соловьевым решительно оспаривается Д.С. Мережковским. Внутреннюю противоречивость общей позиции В.С. Соловьева можно усмотреть и в двух статьях, посвященных Пушкину (Соловьев, 1990). В частности, утверждая, что «только своею *красотою* и ничем другим... поэзия может и должна служить делу истины и добра на земле», В.С. Соловьев не замечает таковой, т.е. красоты в поэзии Лермонтова.

Возвращаясь к пушкинским «измерениям» (во всяком случае, к попыткам «измерений»), попробуем сравнить «поэтические пространства» Пушкина и Лермонтова, имея в виду обобщающий выше структурный состав (субпространства) пушкинского пространства.

Как и у много «путешествовавшего» Пушкина, значительные по расстояниям перемещения Лермонтова отразились в весьма многообразных и живописных поэтических образах ландшафтов необозримой России. В письме С.А. Раевскому Лермонтов отмечает: «С тех пор как я выехал из России, пове-ришь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже...» (Лермонтовская энциклопедия, 1981).

Физическое субпространство поэтического пространства Лермонтова, как и у Пушкина, включает поэтические описания гор, рек, долин и т.д. Как отмечает И. Андронников, «он умел одухотворять, оживлять природу: утес, тучи, дубовый листок, пальма, сосна, дружные волны наделены у него человеческими страстями – им ведомы радости встреч, горечь разлук и свобода, и одиночество, и глубокая, неутолимая грусть» (Андронников, 1988, с. 5–18). Как отмечает М.Н.Эпштейн: «Лермонтов внес в

русский поэтический пейзаж вертикальное измерение - устремленность ввысь» (Эпштейн, 2007, с.240).

Как и в пушкинском физическом субпространстве поэтического пространства, тема пустыни часто ассоциируется у Лермонтова с собственным, личным пространством поэта. Однако пространственные устремления Лермонтова изначально носят характер антагонизма с разной динамикой в различные периоды творчества. Уже в одном из первых подростковых стихотворений первого периода («Осень», 1828) находим сложную антитезисную структуру поэтического созерцания различных жизненных явлений: *поле* – плоское, (земное), желтое, увядшее; *бор* – вертикальное, (небесное), зеленое. Вместе с тем жизнь в поле активна, динамична («и кружатся, и летят»), а в бору – мертвенна, холодна («поникши ели Зелень мрачную хранят»). Также двойственно противоречив в этом направлении другой ряд явлений: *пахарь* – «под нависшею скалою» (в опасности?), не любит (отдыхать); *зверь* – «отважный поневоле», спешит (скрыться). Здесь, по-видимому, организованное, подчиненное (пахарь) противопоставлено стихийному, свободному (зверь), и вместе с тем в каждой ипостаси, в свою очередь, отмечено определенное отрицание (противоречие): «не любит» (пахарь), «поневоле» (зверь). Третий круг явлений в этом коротком стихотворении – месяц, т.е. сфера небесной жизни; и здесь вновь обнаруживается антитеза: «тускл» и «серебрист». Можно спорить о поэтических достоинствах этого произведения юного автора, но несомненна его идейная выдержанность с точки зрения последующего творчества.

Раздвоенность физического субпространства поэтического пространства Лермонтова, концептуальная конфликтность двух топосов (миров) – земли и неба сохраняется на протяжении всего творческого пути поэта. Земля и небо – самые частотные понятия в словаре Лермонтова; их первичность в списке сопоставимых понятий сохраняется во всех периодах творчества поэта (Лермонтовская энциклопедия). «Небесное было для Лер-

монтова своей стихией» – считает П. Перцов («Торжественный венок»). Как отмечает С. Андреевский, «смелое, вполне усвоенное Лермонтовым родство с небом дает ключ к пониманию и его жизни, и его произведений... неизбежность высшего мира проходит полным аккордом через всю лирику Лермонтова. Он сам весь пропитан кровною связью с надзвездным пространством» (Торжественный венок, 1999, с. 4–33). В большом стихотворном произведении 1831 г. («1831-го июня 11 дня») автор поясняет преимущество гор: «Кто близ небес, тот не сражен земным». Причем Лермонтов, как и Пушкин, обозначает место понятием *пустыни* («на небе иль в другой пустыне»). Космическая устремленность поэтических исканий Лермонтова вряд ли аналогична поискам пристанища, «приюта спокойствия, трудов и вдохновенья» у Пушкина. «Космическая точка зрения» (Торжественный венок, 1999, с. 4–33), столь необходимая поэту, вполне могла сочетаться с нейтральным или даже негативным отношением к небу: «А моя мать – степь широкая, А мой отец – небо далекое, И вольность мне гнездо свила, Как мир – необъятное!» («Воля», 1831); «Я небо не любил, хотя дивился Пространству без начала и конца...» («Отрывок», 1931). В стихотворении 1830 (31) г. поэт восклицает: «Как Землю нам больше небес не любить? Нам небесное счастье темно; ...» («Земля и небо»).

Можно предположить, что в период поздней юности эмоциональные предпочтения пространственно-поэтических образов связаны с земной жизнью: «Люблю я цепи синих гор...» (1832). Однако функционально-поэтическая связь с внеземным, неизмеримо большие возможности «космического взгляда» создают основу для интеллектуальной привлекательности такого взгляда и соответствующей направленности поэтического творчества («Синие горы Кавказа... вы к небу меня приучили...», 1832).

Если обратиться к более позднему, знаменитому парадоксально-патриотическому произведению («Люблю Отчизну я... », 1841), то и здесь, в сугубо земных объектах поэтической

любви, находим небесные приметы: «степей *холодное_молчанье*», «лесов *безбрежных* колыханье» и т.д., уравновешиваемые динамикой движения, пронзающего взгляда.

Возвращаясь к творчеству первого периода, в стихотворении «Мой дом» (1830–1831 гг.) находим важный дополнительный признак, определяющий субъективно значимое место поэтической жизни Лермонтова: «Мой дом везде, где есть небесный свод, Где только слышны звуки песен». Причем восприимчивость поэта к звукам и их влияние на него так велики, что забываются вечность, небо, земля, ощущение себя («Звуки», 1830–1831 гг.).

Таким образом, в поэтическом пространстве Лермонтова мы не обнаруживаем явного и постоянного предпочтения того или иного места, создающего наилучшие условия для поэтического творчества. Однако это не означает оторванности, изолированности, несвязанности творческого начала поэтической жизни Лермонтова с жизнью земной. Для Пушкина, как мы определили ранее, наличие такого места («Пушкинская пустыня») в реальном плане или хотя бы в представлениях было необходимым условием творчества, а в качестве достаточного дополнения выступало специфическое состояние «Пушкинской лени».

У Лермонтова отсутствие аналогичного пушкинскому физического места в поэтическом пространстве замещалось внутренне (духовно, психологически) конструируемым небесно-космическим фантомом, вполне земным, дополняющим условием поэтического творчества к которому выступал реальный либо представляемый мир звуков.

Социальное субпространство поэтического пространства Лермонтова также двойственно и внутренне конфликтно. Как отмечает И. Андронников, не только внешность, но и характер Лермонтова его современники изображают так несхоже, «что временами кажется, словно речь идет о двух Лермонтовых... он, конечно, и держался по-разному – в петербургских салонах, где

подчеркивал свою внутреннюю свободу, независимость, презрение к светской толпе, и в компании дружеской, среди людей простых и достойных» (Андроников, 1988).

В стихотворении «1830 год. Июля 15-го» Лермонтов пишет: «Но в общество иное я вступил, Узнал людей и дружеский обман...» Примерно через год: «Я холоден и горд; и даже злым Толпе кажусь; но ужель она Проникнуть дерзко в сердце мне должна? Зачем ей знать, что в нем заключено? Огонь иль сумрак там ей все равно» («1831-го июня 11 дня»).

Поэт не идентифицирует себя с обществом в целом или каким-либо социальным окружением, определяя свое отношение то как полную отстраненность, то как полное доверие, не предполагающее проверки истинности и соответствия, взаимно испытываемых чувств, то как игру с обществом по типу: «Но лучше я, чем для людей кажусь...» и др. В. Вацуро отмечает: «Романтический эгоцентризм юного Лермонтова, конечно, питается литературными истоками, но в то же время он нечто большее, чем литература: он – факт мироощущения и в какой-то мере даже жизнепостроения» (Вацуро, 1983, с. 5–34).

Так же, как и физическое субпространство поэтического пространства (Земля – Небо), социальное субпространство Лермонтова внутренне (субъективно) отчуждено, антагонистично. Можно предположить, что эмоционально предпочтительный образ, определяющий центральное место, место самого поэта в социальном пространстве, – это образ колокола (место «Над»), звуки которого «Как весть кончины иль бессмертья глас – ... Он возвещает миру все, но сам – Сам чужд всему, земле и небесам» («Когда в утро зимнее...», 1831).

Антисоциальность (внесоциальность) Лермонтова определялась тем духовным миром (пространством), который он создал. В этом пространстве нет места другим: «Я тем живу, что смерть другим: Живу – как неба властелин – В прекрасном мире – но один («Пусть я кого-нибудь люблю...», 1831).

Поэт сознательно не избирает определенного, желательного или приемлемого для себя социального места, а предпочитает территорию «внеаходимости»: «Я меж людей беспечный странник, Для мира и небес чужой; ... » («Я не для ангелов и рая...», 1831). В этом смысле для Лермонтова, в отличие от Пушкина, нет проблемы свободы.

«Внеаходимость» отлична от борьбы с умопомешательством ницшеанского толка (характеризуемой постоянным бегством от места, от привязки к чему-либо, что может так или иначе запускать механизм сумасшествия), так как опирается на внутренний идеальный мир, локализуется (находит опору) в себе, в поэтическом «Я» Лермонтова: «Но потеряв отчизну и свободу, Я вдруг нашел себя, в себе одном...» (Отрывок, 1831).

Позиция общественной «внеаходимости» и эголокализации в социальном субпространстве поэтического пространства сохраняется и в последующих периодах творчества Лермонтова, при этом эмоционально-ценностный и тем более интеллектуальный момент поэтического творчества, не снижаясь в остроте и трагичности противостояния «земное – космическое», «социальное – личностное» и т.д., наполняли полноценным содержанием обе конфликтующие стороны. Так, отношение к «черни», толпе – в противопоставлении поэтическому Я, в юношеской поэзии весьма общее, негативно-презрительное, в поздней юности приобретает черты понимания, сочувствия, уважения:

Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной.
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.
А между тем из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой неизмятый...
(«Не верь себе», 1839)

Притягательный образ: «Звезды и неба» в ранней поэзии впоследствии «уравновешивается» образом «родные все места...» в поздней лирике. В настоящем времени ни в физиче-

ском, ни в социальном субпространствах поэтического пространства Лермонтова нет своего собственного места. Место ищется и находится либо в перспективном, воображаемом, возвышающем, освобождающем от обманчивых, коварных, предательских, злонамеренных и т.д. земных явлений, либо в перспективном, воспоминаемом, сновидно-желаемом, освобожденном от служебных функций и зависимостей и т.д. прошлом. Таким образом, «уравновешивание» основных образов ранней и поздней лирики Лермонтова достигается не столько дополнением романтической, идеально-познавательной составляющей поэтического творчества багажом реальной, земной, обогащенной онтологией составляющей, сколько особыми, характерными для Лермонтова «сновидимыми» поэтическими состояниями, преимущественно ориентированными либо на небесное (вечное) – и тогда в диалоговой оппозиции оказывались земные ночь (I, II, III), смерть, разложение земного и пр.; или ориентированными на земное (скоротечное, мгновенное) – и в этом случае в оппозиции оказываются стремления к «безбрежной свободе», ясности, бесхитростности отношений и т.д. Авторские обозначения этих созерцательных, сновидных поэтических состояний: - забытья, погрузиться в мечту, «царства дивного всеильный господин и др.».

Структуру поэтического времени в лирике Лермонтова, как и Пушкина, можно рассматривать в трех составляющих: историческое, социальное и биографическое время. Конструкция исторической составляющей поэтического времени, представленного в лирике Лермонтова, определяется совокупным анализом таких произведений, как: «Жалобы турка», «30 июля. (Париж) 1830 года», «Умиравший гладиатор», «Бородино» и др. Как и в пространственно-поэтическом измерении, Лермонтов занимая позицию внеаходимости, так и в поэтико-временном измерении автор не обнаруживает какой-либо эмоциональной «привязанности» во времени: «Гляжу назад – прошедшее ужасно; Гляжу вперед – там нет души родной» («К ***», 1830);

«Гляжу на будущность с боязнью, Гляжу на прошлое с тоской...» (1837–1838 гг.).

Такое, вневременное состояние характеризует не только историческое, но и социальное и биографическое время поэта: «Печально я гляжу на наше поколение! Его грядущее – иль пусто, иль темно...» (Дума, 1838 г.); «Я схоронил навек былое, И нет о будущем забот...» («Слова разлуки повторяя...», 1832 г.); «Мое грядущее в тумане, Былое полно мук и зла...» (1841 г.). Вневременность поэтических состояний Лермонтова можно объяснить нарушением хронологических рамок социальной истории лермонтовского поколения, а также индивидуального развития поэта, что метафорически неоднократно выражено автором в образе «плода, до времени созрелого».

В таком поэтическом вневременном состоянии уравниваются минута (мгновение) и вечность: «... наша жизнь минута сновиденья...» (К П...ну, 1829 г.); «Века ужасных мук равны Такой минуте...» («Видение», 1831 г.); «Мгновение вместе мы были, Но вечность ничто перед ним...» (К ***, 1832 г.) становится возможным увидеть время со стороны: «...И вновь стоят передо мной Веков протекших великаны; они зовут, они манят...» («1831-го января»); «Как часто силой мысли в краткий час я жил века и жизнью иной...» (1831-го июня 11 дня) определить иные отношения со временем: «Я жил века и жизнью иной...» (1831-го июня 11 дня). Как отмечает П. Перцов, «Лермонтов – лучшее удостоверение человеческого бессмертия. Для него оно не философский постулат и даже не религиозное утверждение, а простое *реальное переживание*. Ощущение своего Я и ощущение его неуничтожимости сливались для него в одно чувство. Он знал бессмертие раньше, чем наступила смерть. ...Мощь личного начала (величайшая в русской литературе) сообщала ему ощущение *всей жизни* личности: и *до*, и *во время*, и *после* "земли". Он знал *всю* ленту человеческой жизни. Поэтому понятно, что тот ее отрезок, который *сейчас, здесь*

происходит с нами, так мало интересовал его» (Торжественный венок, 1999, с. 201–209).

Поэтический поиск Лермонтова неизменно концентрировался в попытках вырваться из плена противостояния жизни и смерти и конкретных проявлений их противоборства: любовь – ненависть, слава – пренебрежение, действие – покой, свобода – заключение, толпа – одиночества, родина – изгнание, память – забвение, миг – вечность и др. Ментальный мир Лермонтова весь соткан из поэтических антиномий; опыт их преодоления и составляет, на наш взгляд, образующие духовного мира поэта, образующие его поэтического Я. Поэтому, как отмечает И. Андронников, «одним он кажется холодным, желчным, раздражительным. Других поражает живостью и веселостью... Лермонтова можно было представить себе только в динамике – в резких сменах душевных состояний, в быстром движении мысли, в постоянной игре лица» (Андронников, 1988). Внешнее впечатление «бесконечной замкнутости, отчужденности от людей», то, что кажется «гордыней» и «злобою», отмечает в Лермонтове Д.С. Мережковский (Мережковский, 1991).

С. Андреевский объясняет творчество Лермонтова «роковым разладом между человеком и природой» и приходит к заключению, что «во всей поэзии (Лермонтова) нежность отзывается злобой, а злоба – нежностью» (Торжественный венок, 1999, с. 4–33).

Обстоятельный анализ лирики юношеского периода (1828–1832 гг.) предполагает исследование различных факторов, определивших направленность поэтического содержания этого периода: возрастно-психологические особенности, социальная и семейная микросреда, социальные катаклизмы (чума в Саратове, события во Франции и т.д.) и др. Однако уже в этот, первый период в поэтическом творчестве Лермонтова обнаруживается первоначальная основа достаточно целостной поэтической Я-концепции, выраженная, в частности, в стихотворении «Молит-

ва» (1929 г.). Три составляющие этой концепции сформулированы поэтом следующим образом:

«Мрак земли могильной

С ее страстями я люблю...»

«Мир земной мне тесен...»

«Страшная жажда песнопенья».

«Жажда песнопенья», т.е. поэтическое призвание, направляется автором не к миру почестей и славы – «Для тайных дум я пренебрег И путь любви и славы путь» («Отрывок», 1830 г.); Лермонтов терзается мыслью: «Ужель единый гроб для всех Уничтожением грозит?». Двойственность, противоположность чувств, испытываемых автором в связи с необходимостью оформления отношения к смерти, отчетливо выражена в стихотворении «1830. Мая 16 числа»: «Боюсь не смерти я. О нет! Боюсь исчезнуть совершенно... Люблю мучения земли». Некоторое примирение с неизбежностью смерти находим в «Отрывке»: «Мы сгинем, наш сотрется след... Наш прах лишь землю умягчит Другим, чистейшим существам».

Как отмечает С. Андреевский, «Лермонтов отделяет свою душу от праха, желает этой душой слиться со вселенной, наполнить ею вселенную» (Торжественный венок, 199, с. 4–33). Вера Лермонтова в реальность собственного неземного бытия (которая отличается от церковного бессмертия души) питается неким специфическим ощущением, обусловленным творчеством, поэтическим призванием: «Я чувствую, – судьба не умертвит во мне возросший деятельный гений... Божественной души безбрежную свободу» («Унылый колокола звон», 1830–1831 гг.); «Нет, нет, – мой дух бессмертен силой, Мой гений веки пролетит...» («Дереву», 1830 г.). Эта вера допускает уход из земной жизни по причине разочарования и обмана:

Пора уснуть последним сном,

Довольно в мире пожил я;

Обманут жизнью был во всем

И ненавидя и любя.

Юный поэт находит любопытную формулу смерти при сохранности жизни: «... неведомый пророк Мне обещал бессмертье, и, живой, Я смерти отдал все, что дар земной» (1831-го июня 11 дня). Эта формула объясняет часто встречающуюся самохарактеристику поэта:

Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой...
(Я не для ангелов и рая..., 1831)

Но жизненная пульсация не позволяет поэту постоянно находиться в состоянии «всеведенья». В четко датируемом (парадокс вневременной находимости) философско-поэтическом размышлении (1831-го июня 11 дня) находим:

...жажда бытия
Во мне сильнее страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других.

...

Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом
И небо обвинить нельзя ни в чем.

В этом горьком умозаключении юный Лермонтов видит итог своих поэтических исканий и начало нового поэтического образа Я – в активном противодействии («Так жизнь скучна, когда боренья нет», «Мне нужно действовать, я каждый день Бессмертным сделать бы желал...»). Видимо, не случайно в частотном словаре Лермонтова первые ранговые места занимают: «я», «не» и «он» (инверсия «Я» через поэтический образ Демона и др.); следом идут: «быть», «весь» (Лермонтовская энциклопедия, 1981).

Идеальным воображением, образом активной направленности лермонтовского поэтического плана выступает морская волна («Для чего я не родился этой синюю волной?»). Поэт не страшится мук ада, не прельщен раем, способен разрушать все, чем «так гордятся люди» и «Беспокойство и прохлада Были б

вечный мой закон...», а главное – «Был бы волен от рожденья жить и кончить жизнь мою!» (1832 г.).

Но борьба – это всегда боль, боль за себя и за другого, т.е. страданье. В поэтическом Я страдание оправданно («Что без страданья жизнь поэта? И что без бури океан?»). Но что это за борьба и почему она связана с такими страданиями? Л.Н. Толстой находил в Лермонтове «самые высокие нравственные требования, лежащие под скрывающим их напущенным байронизмом» (Торжественный венок, 1999). Согласно В. Ходасевичу, «Поэзия Лермонтова – поэзия страдающей совести. Его спор с небом – попытка переложить ответственность с себя, соблазненного миром, на того, кто этот соблазнительный мир создал, кто "изобрел" его мучения...» (Торжественный венок, 1999). По мнению В. Вацура, в контексте поэзии Лермонтова «страдание... есть мера внутренней ценности личности», а в контексте поэтической самоидентификации Лермонтова со злом страдание выполняет «искупительную, очищающую роль» (Вацура, 1983).

Признавая и власть известности над собою, юный поэт считает, что стремления к славе «Велят себе на жертву все принести, ...» (1831-го июня 11 дня). Молодой поэт прекрасно понимает мучительности этой жертвы:

К чему ищу так славы я?
Известно, в славе нет блаженства,
Но хочет все душа моя
Во всем дойти до совершенства.
Пронзая будущего мрак,
Она бессильная страдает
И в настоящем все не так,
Как бы хотелось ей, встречает.
(Слава, 1830 – 1831 гг.).

Жертвы себе, как следует далее из текста стихотворения, – это несравнимость живых звуков небес с земным и обреченность на одиночество. И дело здесь не в позе, не в романтической интонации, не в напущенном байронизме, который был

преодолен Лермонтовым уже в 1832 г. («Нет, я не Байрон...»). Секрет – в чувственно обнаруженной и поэтически выраженной глубокой антиномичности как реального (земного), так и идеального (небесного) бытия, социальных и личностных (индивидуальных) отношений, призвания и признания, служения и свободы и т.д. С одной стороны «мысль о вечности, как великан, ум человека поражает вдруг... каждый звук Гармонии вселенной, каждый час страдания или радости для нас становится понятен, и себе мы можем дать отчет в своей судьбе» (1831-го июня 11 дня); с другой – «Мой демон» – «Покажет образ совершенства И вдруг отнимет навсегда И, дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда» (1830–1831 гг.); или «как смел желать я громкой славы, Когда вы счастливы в пыли?... Пускай возвышусь я над вами, Но удалюсь ли от себя?» (Безумец я!..., 1832 г.). С одной стороны: «Я рожден, чтоб целый мир был зритель... Торжества иль гибели моей...» (К***, 1832 г.), с другой – «Смири страстей своих порыв, Будь как другие хладнокровен, Будь как другие терпелив... Ужель мечты тебе так жаль? Глупец! Где посох твой дорожный? Возьми его, пускайся вдаль;... Не обожай ничью святыню, Нигде приют себе не строй... Смотреть привыкни равнодушно...» (Когда надежде недоступный..., 1834–1835 гг.). Поэт вполне осознает антиномичность всего сущего и мыслимого, что отчетливо выражено во внешне-рефлексивном поэтическом шедевре «Когда б покорности незнания...».

В художественно-образном плане эта антиномия (жизнь = свобода – служение = смерть) представлена в стихотворении «Три пальмы» (версия пушкинского «подражания» Корану).

Не в силах разрешить мучительную дилемму, поэт в отчаянии вопрошает: «Придет ли вестник избавленья открыть мне жизни назначенье, Цель упований и страстей...» (Гляжу на будущность с боязнью..., 1836 г.). Поэт мучается, сопоставляя противоположные начала: «Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!» (Поэт, 1838 г.), «... стыдися торговать то гневом, то

тоской послушной, И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной... » (Не верь себе, 1839 г.).

Зададимся вопросом: может ли единый, целостный, острый, пронизательный разум сохранять единство, будучи постоянно обуреваем непримиримыми противоречиями и не локализуясь (не находя себе места) ни в пространстве (природном, социальном, ментальном); ни во времени (прошлое, настоящее, будущее); ни в духовном мире (призвание, назначение, Я-концепция)? Анализируя творчество поэта, можно заключить, что, как и Пушкин, Лермонтов определил то особое, характерное именно для него поэтическое состояние, в котором наиболее полно выражался и поэтический поиск, и удивительно тонкое уравнивание неразрешимых (ни в земном, ни в небесных измерениях) противоречий. Если у Пушкина это специфическое состояние лени, то у Лермонтова – не менее специфическое состояние созерцательного сна, имманентное творчеству поэта как необходимое и достаточное условие, на протяжении всей его жизни: «Поет, забывшись в райском сне...» («Поэт», 1828 г.); «В уме своем я создал мир иной...» («Русская мелодия», 1829 г.); «Забываю вечность, небо, землю, самого себя» («Звуки», 1830 г.); «Я верю, обещаю верить, Хоть сам того не испытал,... Что... жизнь поболее, чем сон!...» («Исповедь», 1831 г.); «Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами...» («Чаша жизни») и др. «Творческую стихию такого рода нефиксированной, необъективирующей рефлексивности, свободной разверстости в неведомое даосы называли забытьем... Древние даосские мыслители сравнивали жизнь со сном... как «средой» творческого обновления, предполагающего... необыкновенную чуткость духа... Во сне наш разум не властен над нами, и мы целиком отдаемся потоку перемен, не спрашивая о причинах вещей, не задумываясь над целями. Вот почему происходящее во сне кажется нам даже более реальным, чем явь» (Малявин, 1988, с. 5–38).

Наиболее поразительным в этом плане является стихотворение Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Да-

гестана...»), которое можно рассматривать как ключ ко всей поэтической проблематике автора. Не случайно В.С. Соловьев считал: «Одного этого стихотворения, конечно, достаточно, чтобы признать за Лермонтовым врожденный, через голову многих поколений переданный ему гений» (Торжественный венок, 1999). В Я-концепции Лермонтова жизнь есть сон, и тогда достигается бессмертие, так как сон объединяет земное и небесное (мечту). Пусковым механизмом сновидных поэтических состояний являются звуки, и в это время, как пишет поэт, «леденеет быстрый ум», наступают «сумерки души, когда предмет желаний мрачен: усыпление дум; Меж радостью и горем полусвет; Душа сама собою стеснена...» (1831-го июля 11 дня).

Характеристика поэтического состояния созерцательного сна (забытья) дается также в одном из последних стихотворений Лермонтова («Выхожу один я на дорогу...»); это не холодный сон могилы, а безграничное во времени состояние сна, «Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь...».

В весьма значительной части произведений Лермонтова мы находим отзвук, ассоциацию, переключку, полемику или иной ответ на вопросы жизни, смерти, творчества, славы и т.д., поставленные и решавшиеся Пушкиным. Оба поэта, провозглашая свободу как абсолютную ценность, в стремлении к свободе, в желании осуществить ее для своего народа, конструируют противоположные хронологические и ментальные установки поэтических образов («Пророк» у Пушкина – «Пророк» у Лермонтова и др.). Эта противоположность обнаруживается и в сценариях жизненной линии обоих поэтов, линии, завершающейся одинаково трагически.

Поэтический камертон времени: пространство, время и ментальный мир в поэзии Дж. Г. Байрона

Что такое поэзия? –
Ощущение предшествовавшего мира и
мира будущего.

Дж.Г. Байрон

Дух байронизма вдруг пронесся как бы
по всему человечеству, все оно отклик-
нулось ему.

Ф.М. Достоевский

Поэтическое творчество можно определить как концентрированную форму знаково-эмоционального выражения пространства, времени и человеческого Я. Поэтическое пространство включает такие структурные образования, как физическое, социальное и духовное (ментальное) субпространства. В поэтическом времени можно выделить его структурные образующие составляющие: историческое, социальное и биографическое время. Соответствующий данной категориальной «сетке» опыт историко-психологического анализа лирической поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова представлен выше.

Известно, какое сильное влияние оказали творчество и личность Байрона на умонастроение, духовный поиск и даже стиль жизни европейских стран, включая Россию. Сравнение лирического наследия Пушкина и Лермонтова в хронотопическом и ментальном аспекте выявил существенные различия психологического плана их творчества. Сопоставимы ли эти психологические планы с теми, что представлены в лирике Байрона?

Громадным препятствием в решении этой задачи оказывается языковая проблема. Как бы успешно ни развивались переводческие школы, перевод, адекватно представляющий содержание, поэтическую форму, стиль, интонацию, фоносеман-

тические особенности и т.д. все еще является в значительной мере искусством, а не ремеслом. В переводах лирики Байрона, как отмечает Н. Демурова, «поэты снова и снова повторяли свои попытки, снова и снова возвращались к оригиналу, словно завоженные какой-то загадкой. ... Десятки имен, сотни попыток истолкования, но среди них – лишь отдельные удачи... По-видимому... многие поэты искали в Байроне самих себя, со своими поэтическими установками и идиосинкразиями. Лишь в исключительных случаях – Лермонтов, Тургенев, Брюсов, Блок – происходило "чудо слияния"». Как заключает Н. Демурова, «Байрон во всей своей сложности и величии так и не дался в руки XIX века» (Демурова, 1979).

XXI в. с его самым большим бедствием – разрастающимся экстремизмом и терроризмом, также актуализирует фигуру Байрона, и это уже не мираж, не «химера, то и дело меняющаяся – в зависимости от поэтов и настроений» (Демурова, 1979). Воистину благими намерениями, в особенности романтическими, вымощена дорога в ад. Возможно, прав А.М. Зверев, утверждая, что «романтики не могли и не хотели примириться с тем, что человек зависим от окружающего, личность для них была священной. Они все, а Байрон в особенности, верили в неотъемлемые права героя действовать в согласии со своей волей, не оглядываясь на обстоятельства и на желания других людей... Романтик предпочел бы любые потрясения и невзгоды тому идеалу, который был уготован большинству и большинством принят, – пусть страдания, пусть гибель, только не этот жребий послушной глины в руках бессмысленной и нелепой судьбы» (Зверев, 1988, с. 69).

Романтизм, одним из основателей которого и является Байрон, не замечает или вовсе игнорирует «опасность своеволия, эгоистического произвола», того «предела, за которым воля перестает быть нравственной. И тогда она страшна. Пагубна для каждого, кто пленился иллюзией безграничной, бесконтрольной свободы» (там же, с. 70). Как отмечает А.М. Зверев, для героев

Байрона «священна лишь безграничная свобода личности, которая считает себя... стоящей выше общества, а тем самым и наделенной правом переступить через его нормы» (там же, с. 89).

Однако свобода у Байрона не вполне «бесконтрольна»; она регулируется той правдой, «в основе которой лежат высокие нравственные принципы», и «нет на земле ничего достойнее этой правды» (Байрон). По убеждению Байрона, «нет выше поэзии, чем поэзия, проникнутая этическим пафосом» (Байрон). «Высоконравственная поэзия, или... дидактическая поэзия, имеющая своим предметом просвещение и улучшение человека» для Байрона – «высший род поэзии» (Байрон).

В ментальном мире Байрона субъективная значимость свободы одинакова и в отношении себя, и в отношении других людей, общества в целом. Уже в начале своего творчества поэт восклицает: «Я цепи юности разбил / Страну волшебную мечтаний / На царство истины сменил!» («К музе вымысла»). Как отмечает Р.Ф. Усманова, «отстаивая свободу народов, их право на национально-освободительную борьбу, Байрон не бежал от действительности, а призывал вмешаться в нее... он требовал и от самого человека активных действий...» (Усманова, 1981). Принципиальная позиция Байрона состояла в том, что «зло, царящее в мире, не изживается путем постепенного усовершенствования человеческого рода, избавляющегося от своих «заблуждений», а преодолевается борьбой, страстным порывом бесстрашных и смелых людей, дерзающих вступить в единоборство с могущественными силами гнета и тирании (Кургинян, 1958, с. 61). В дневниках Байрона есть такая запись: «Но вперед! – теперь время действовать; что значит свое «Я», если хотя бы одна искра того, что достойно прошлого, может быть передана не угасшей для будущих времен. Это не один человек, не миллионы, это дух свободы, который надо распространить. Волны одна за другой разбиваются о берег, но тем не менее побеждает океан... Каковы бы ни были жертвы отдельных лиц, великая

цель соберет силы, сметет все шероховатости и оплодотворит землю, годную для обработки...» (Виноградов, 1936, с. 230). Некоторый экстремизм и нарочитая нерасчетливость также характерны для позиции Байрона: – «одна революция способна очистить землю от ада. Не знаю, кто в ней победит, но даже без этого знания я бегу в первые ряды» (там же, с. 276). И, как мы знаем, это были не пустые слова. В корреспонденциях и записках, отмечает Н.Я. Дьяконова, предстает «образ человека, для которого судьбы мира настолько становятся частью внутреннего «Я», что в любую минуту готов расстаться с жизнью во имя торжества свободы и справедливости» (Дьяконова, 1975, с. 156).

Социальный экстремизм как проявление личностной направленности может питаться либо ценностями традиционной культуры (установка консерватизма), либо нетерпеливой устремленностью в будущее, представляемое как желательная модель устройства общества. Историческая эрудиция Байрона, пафос событий французской революции 1789 г., и личностная вовлеченность в освободительные процессы ряда европейских стран способствовали формированию позиции бескомпромиссности и непримиримости. В биографии, составленной Т. Муром, Мэри Шелли в качестве главной характеристики Байрона выделяет качества «оппозиционера, бунтаря, поборника вольности» (Зверев, 1988, с. 181).

Возможно, что «эмоциональный накал» Байрона, перепады психических состояний, переживание социальных и межличностных взаимоотношений в определенной мере способствовали творческой сублимации в контрэмоциональный, «остылый» поэтический образ Чайльда Гарольда, гармонизируя «наэлектризованный» внутренний план отношений Байрона, т.е. самоотношение. При этом внешний план, т.е. реальные отношения в социальной микросреде (исключая сестру Августу) и в светском обществе, менялся от восторга, литературных и поведенческих подражаний до полного остракизма. Байрон так и оставался удивительно цельным во внутреннем плане, представленном в

творчестве и поразительно «множественным», противоположно представленным во внешнем плане, в отзывах и оценках одних и тех же и разных людей, знавших или встречавшихся с Байроном. Таким образом, в Байроне мы находим соединение внутренней хромотопической и духовной целостности и гармонии, ярко выраженной также у Пушкина, и топологической и временной венаходимости во внешних проявлениях духа, что мы также замечаем у Лермонтова.

Структурная модель сознания (Акопов, 2002а) отчасти объясняет этот парадокс. Две образующие сознания – контакт (коммуникация, общение) и свобода (творчество, созидание) позволяют объяснить другие известные структурные подходы к описанию сознания и создаваемых психических явлений (Аллахвердов, Петренко, Семенов и др.). Поэтическое творчество как внутренняя коммуникация с собой и другими людьми вполне свободно. Ограничение свободы (цензура) искажает либо контекстуализирует коммуникацию. Широта-узость и тот или иной уровень контакта существенно расширяют-сужают внутреннюю свободу. Коммуникация во внешнем плане, ввиду необходимости согласовывать язык и содержание сообщений с возможностями и желаниями другого, в значительной мере ограничивают свободу.

Байрон, будучи внутренне абсолютно свободным (многообразии сюжетов, образов, интонаций, чувств и т.д. в поэтической коммуникации), испытывал большие сложности в коммуникации внешнего плана. Как следствие – постоянные перемещения, переезды, смены места жительства. Чтобы так часто менять внешнюю среду, необходимо любить ее многообразие («И снова жить в родных горах, / Скитаться по лесам раздольным, / Качаться на морских волнах...» – «Хочу я быть ребенком вольным...»). Если для Пушкина физическое субпространство поэтического пространства вполне определено («Пустынный уголок...»); для Лермонтова это место венаходимости («Земля и небо...»), то у Байрона – множество земных ландшафтов («Ве-

личие альпийской природы было все-таки самым большим литературным источником моим» (Виноградов, 1936, с. 150).

В одном из ранних стихотворений, которое, на наш взгляд, можно считать программным у Байрона, прочитывается символическое воплощение упоминавшихся составляющих лирической поэзии юного автора. Пока еще контурно, не во всей полноте, но весьма провиденциально выстраиваются в ряд и физическое подпространство поэтического пространства («Ньюстед! Ветрами пронизана замка ограда, Разрушеньем объята обитель отцов»), и социальное подпространство («Гени предков! Потомок прощается с вами»), и духовное подпространство («Вспоминать вашу доблесть он будет всегда»... «гордая слава отцов», «Вашей храбрости, предки, он будет достоин, В сердце память о ваших делах сохранит»).

Чувственно откликаясь на «прошлого зов» и одновременно прощаясь с детством, юный Байрон достаточно отчетливо определяется в социальном и личностном времени («Он, как вы, будет жить и погибнет, как воин, и посмертная слава его осенит»).

Через три года в стихотворении «При виде издали деревни и школы в Гарроу – на холме» Байрон подтвердит истинность стремлений и абсолютную ценность детских переживаний:

Но если б среди лет, уносящих стремленьем,
Рок новую радость узнать мне судил, –
Ее испытав, я скажу с умиленьем:
"Так было в те дни, как ребенком я был".

В этот период проявляется одна из ярчайших особенностей поэтического духа Байрона – ироническая рефлексия (см. «Воспоминание», 1806 г.), продемонстрированная также в лирике М.Ю. Лермонтова.

Другая парадоксальная характеристика творчества Байрона – это отсутствие в ценностном ряду духовного субпространства поэта собственно поэтического творчества. «Желание

славы волнует» молодого Байрона – «Только слава одна мне желанна» («Строки, адресованные преподобному Бичеру...», 1806 г.), но в данном случае это слава политического деятеля. А «лучшим сокровищем памяти», тем, что заменит «парнасские хоры» и «помощь муз», по признанию автора, является «первый стыдливый любви поцелуй», ради которого поэт готов отказаться от «сладких обманов вымысла...» («Первый поцелуй любви», 1806 г.). Нечасто в жизни поэта сама поэзия выступает не в качестве первой главной цели, а средством достижения чего-то иного, т.е. не как призвание, а как способность выражения любви, дружбы... аналогичная прозаической речи. Еще один парадокс лирики Байрона – это форма выражения духовного мира поэта от третьего лица – «он», «для него» и т.д. («Ты для него дороже всех дворцов» – «Элегия на Ньюстедское Аббатство»).

Особое отношение Байрона к поэтическому призванию отчетливо выражено в стихотворении «К музе вымысла» («Я цепи юности разбил, страну волшебную мечтаний на царство Истины сменил!... В твоём дворце царит Притворство, И в нём Чувствительность – закон!»). Литературные критики согласятся, что речь идет не об отвержении сентиментализма в угоду нарождающемуся романтизму, а об интеллектуалистской позиции и о все более полно проявляющемся механизме тотального контакта, коммуникации, общения и абсолютной свободы как выбора, творчества, созидания.

Можно согласиться, что в актуальном времени в языке или с помощью языка, в том числе поэтического, может быть выражено все содержание сознания человека, будь то языковое оформление текущих жизненных явлений, или амплификация языка новыми жизненными явлениями, либо их переосмыслением, деконструкцией, реконструкцией и т.д.

Однако поэтико-языковое проникновение в будущее как, впрочем, и в прошлое, представляется не мистикой и не игрой (Хёйзинга), а упорной работой сознания-созерцания, отчасти дополняемого физической, социальной и духовной деятельно-

стью человека и общества. В этом контексте становится ясно, почему Байрон становится более понятным после Пушкина и Лермонтова, а также место, временной пророческий диапазон и духовное богатство каждого из поэтов.

III. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Что есть истина?

Евангелие от Иоанна: 18, 38

Посох мой, моя свобода –
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

И.Мандельштам

Масштабы развития научного знания, охватывающего не только информационное содержание объектов в глобальном мире (отдалённая и близкая вселенная, космос, земной шар в целом, все человечество как глобальная общность), но и технологическое содержание (универсализация) экономических, политических, правовых, социальных и т.д. процессов обусловили серьёзный интерес в последние годы к проблемам глобалистики (область знаний) и глобализации, как процессу все большего распространения и универсализации различных технологий как технико-экономического, так и социально-политического характера.

Глобализация выражается не только во все более широком овладении пространством (земным, водным, воздушным, космическим), технологизации и универсализации экономической, социальной и культурной жизни, но и в техническом, программном оформлении доступа к фиксированным временным отрезкам событий прошлого или будущего (аудио-видео архивирование, развитие долгосрочных проектов и др.). Расширяются не только побудительные, мотивационные пределы человеческого сознания, но и сама логика того, что называют рациональностью.

Противоречивость последствий глобализации не требует специальных доказательств: финансово-экономические взаимосвязи различных стран и регионов позволяют уменьшать производственные затраты, выравнивать качество жизни и т.д., но вместе с тем кризис, возникающий в одной стране распространяется немедленно во все другие. Глобализация средств связи и универсализация информационно-коммуникационных систем делает доступной большие объемы информации, но информационная совокупность при этом оказывается хаотичной и обезличенной.

Глобальные технологии позволяют обеспечивать удовлетворение массового спроса и повышение его уровня, провоцируя, вместе с тем, создание и производство излишних, квазипотребительских объектов. Целый ряд негативных психологических последствий глобализации как «растущей взаимозависимости всех компонентов мирового сообщества» отмечает А.Л.Свенцицкий (Свенцицкий, 2007). В контексте организационных изменений (трудовая занятость) это, в частности, утрата идентичности, устойчивость которой ранее была обусловлена ограниченной территориальной локализацией компании работодателя и непосредственным взаимодействием с менеджментом организации. Последний, в условиях глобализации, становится все более опосредованным и жестко регламентированным. А.Л.Свенцицкий отмечает также стресс неопределённости, сопротивление или отвержение новых организационных целей, «перенос» беспокойства, тревоги в семейные отношения и другие последствия глобализации как фактора изменения служебных отношений.

Динамика событий, скорость технических, экономических, социальных, организационных изменений становится столь высокой, что впору говорить о «динамическом стрессе» или стрессе непреодолимого отставания в быстро изменяющейся жизни. Темп изменений может существенно превышать возможности индивидуальной или групповой адаптации личности и социаль-

ных групп. Социальные и психологические последствия неоптимального превышения скорости глобализации над возможностями социального и личностного конструирования и самоконструирования (информационное перенасыщение, быстрая и постоянная смена социальных, профессиональных, семейных, межличностных и т.д. ролей, множественная идентификация, полиэтнизация, мультикультурация, манипулирование, макевиализация и т.д. и т.п.) обнаруживаются в «изопрёрнённой» преступности, наркотизации, депрессии, психосоматических заболеваниях, нарушениях психики. Усугубляется психологическая дифференциация с каждым новым поколением, органично присваивающим быстро обновляющуюся среду рождения с соответствующими артефактами, не всегда и не в полной мере вписываемыми в образ мира предшествующих поколений. По аналогии с гипотезой А.П.Назаретяна о техногуманитарном балансе (Назаретян, 2008), можно сформулировать гипотезу глобально-динамического и социально-личностного баланса (дисбаланса).

Существенное расширение системы знаний, их широкая доступность через новые коммуникационные системы (Интернет и др.), а также все возрастающие технологические возможности регуляции и вмешательства в ранее недоступные сферы жизнедеятельности человека от глобального климата до микрогенетики в значительной мере изменяют и сознание человека. Главное изменение, возможно, связано с тем, что, так называемая, объективная реальность («существовавшая до и независимо от человека») становится всё более «субъективной». Расширяются не только побудительные, мотивационные пределы человеческого сознания, но и сама логика того, что называют рациональностью. Рациональным оказывается то, что создаётся и воплощается в жизни человека и в гораздо больших масштабах, чем ранее. Возникает совершенно новая эмпирическая фактология не только вещественного, но и виртуального характера. То, что ранее называлось рациональной логикой, поглощается субъективной логикой, совмещающей и «старую рациональность», и

веру, и конвенцию. В этом смысле уникальное становится универсальным, т.е. всеобщим, свободное (спонтанное) – закономерным и т.д.

Серьезные изменения в образе жизни человека (информатизация, поликультурация, полиидентификация и т.д.) определяют новые языки коммуникации и, соответственно, типы индивидуального, группового, социального, профессионального, родительского и множества других сознаний. Язык предстает здесь не просто как средство коммуникации, отмечает Г.М.Андреева. Языку отводится особая роль участника в процессе конструирования мира, в определенном смысле – его «творца».

Вместе с тем, в процессе глобализации размываются прежние, многообразные контексты коммуникации, общения. Уходит в прошлое развернутый сложносоставной и сложноструктурированный обилием контекстов письменный язык – «письменная ментальность» (Шкуратов, 1990; 1997).

Текст вытесняется все более изощренно технически воплощенными образами. Соответственно, резко возрастает значение невербальной коммуникации (В.А. Лабунская). Смыслы и контексты группируются уже в ином пространстве – звуковом, кинестетическом и пространстве «видеодигмы» (В.А. Шкуратов), вытесняющем семиосферу прежних алфавитов (А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, Ю.М. Лотман).

Звуковой ряд, интонация, пластика движений, ритм дыхания и т.д. и т.п. все более определяют основное содержание социальной и индивидуальной жизни человека. Соотношение операционального (действенного) и ценностного (созерцающего) сознаний становится все более сложно опосредованным. Можно говорить о прогрессе или диалектическом движении вспять, но с существенно новым техническим и технологическим сознанием, невозможно лишь оценочно подойти к этим «превращенным формам», что ни плохо и ни хорошо по сравнению с причинной (детерминационной) бесконечностью прошлого и целевой (сво-

бодной) бесконечностью будущего (Д.С. Мережковский). Это уже другое качество сознания, в связи с чем понятен весьма возросший интерес или «поворот к языку», точнее, к языку как системе знаков; язык предстает не только как средство коммуникации, но и как «важнейшее средство социального познания и конструирования социального мира...» (Андреева, 2009).

При всем разнообразии «визуальных языков», модально-выраженная ими структура остается достаточно ограниченной. Это, главным образом, эмоционально-игровое, интеллектуально-смысловое и действенно-идентификационное содержание, пришедшее на смену неинтенциональным (внеличностным) структурам переживания, познания и действия с абсолютами коммуникации и творчества (свободы) в том и другом воплощении.

Соответственно, на смену представлений о «директивной» (целостной) личности, через преодоление «конвенциональной» личности (множество субличностей), приходит понятие консолидированной личности (системная иерархия индивидуально-социальных «вкладов» в общественную жизнь). Релевантные этим представлениям о личности дискурсы (директивный, конвенциональный, консолидирующий) определяют те или иные типы глоболизирующегося сознания, с одной стороны, и все более глубокую психологизацию жизнедеятельности человека, с другой.

Содержательная психологизация индивида связана с неимоверно возросшими возможностями вмешательства человека в физические, биологические, социальные процессы, с безудержным возрастанием иллюзорного сознания технического могущества, субъективного фактора внешней и внутренней свободы («хочу»), не всегда с оглядкой на последствия и хрупкость механизмов согласования множества степеней свобод.

Выпестованная объективной реальностью «разумная» рациональность теперь уже уступает место не только конвенциональной (согласованной) рациональности, но и, все чаще, субъективной рациональности. Все большая подвластность внешней

реальности человеку, и, соответственно, разрушение идеи предустановленной гармонии (Космос, Природа, Бог, Абсолютная идея и др.), вероятно, должна быть связана с не меньшей подвластностью человеку также его собственной, внутренней (субъективной) реальности. Такая подвластность может выступать в формах совладания, преодоления, саморегуляции и самоорганизации (Ярушкин Н.Н., 2010), самоизменения, саморазвития, самоуправления, самоконструирования и т.д., т.е. всего того, что можно назвать личностным (индивидуальность) конструкционизмом – органично дополнительным социальному конструкционизму.

Наиболее интенсивно эти процессы реализуются сегодня в связи с проблемой идентичности и самоформирования идентичности. Конечно, в этом сложном процессе сохраняют свои «позиции» и формальная и диалектическая логика, однако интенциональным и завершающим механизмами «руководит», на наш взгляд, субъективная логика, замешанная на явлениях эмоционального и социального интеллекта.

Глобализация неизбежно субъективирует все основные ипостаси человека и его жизнедеятельности. В биологической образующей это вопросы половой, возрастной, гендерной, телесной, конституциональной, пищевой и т.д. идентичности (самоопределения). В социальной и этно-ментальной (менталитет) образующей это проблема принятия – выбора – включенности в те или иные социальные группы (большой город, малый город, село; рабочие, служащие, интеллигенция; богатые, бедные; верующие той или иной конфессиональной принадлежности и т.д.). Образовательно-профессиональная образующая примыкая, с одной стороны, к социальной, одновременно связана с психологической образующей: в первом плане это статус, тип и профиль образования (гимназия, лицей, колледж и т.д.) и профессиональной деятельности; во втором плане – осознанный выбор жизненной линии, проектирование карьеры, определение образа жизни и др. В условиях современной глобализации значительно

возрастает «нагрузка» (удельный вес) психологической образующей, что отражает также динамику перехода от информационного к психологическому обществу (Н.Смит). В связи с этим доминируют неравновесные психические состояния (А.О.Прохоров) социального и личностного самоопределения в аспектах стабильности-динамичности, реальности-виртуальности; присвоения готовых форм – конструирования и созидания новых и т.д.

Таким образом, глобализационные процессы вызывают, с одной стороны, существенное расширение свободы субъекта как во внешнем, так и во внутреннем планах, включая возможность «дрейфа» от традиционной рациональности (мифологика, схоластика, формальная логика) к постнеклассической рациональности (диалектическая логика, конвенциональная логика, субъективная логика), с другой – повышение меры субъективного произвола и, соответственно, ответственности за самоизбранную форму конструируемого «Я» и соответствующей системы отношений. Очевидно, что роль и работу сознания (осознания) в этих процессах трудно переоценить; адекватной этому возрастанию места сознания в жизни человека, на наш взгляд, является трансценденция Человека разумного (*Homo Sapience*) в Человека сознающего (*Homo Consciesness*).

ЛИТЕРАТУРА

- Абульханова-Славская К.А.* Стратегия жизни. М., 1957.
- Акопов Г.В.* Российское сознание. Историко-психологические очерки. Самара, 1999.
- Акопов Г.В.* Социальная психология образования. М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта, 2000.
- Акопов Г.В.* Проблема сознания в психологии. Отечественная платформа. Самара, 2002.
- Акопов Г.В.* Проблема сознания в российской психологии: Учеб. пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004.
- Акопов Г.В.* Язык, сознание, ментальность // Ментальность российской провинции. Сборник материалов IV Всероссийской конференции по исторической психологии русского сознания. 1-2 июля 2004г. Самара: Изд-во СГПУ (факультет психологии). 2005. (Ежегодник Российского психологического общества). С. 39–45.
- Акопов Г.В.* Проблема сознания в современной психологии: зарубежные подходы // Мат-лы I Всеросс.конф. «Психология сознания: современное состояние и перспективы» 29 июня-1 августа 2007г. Самара: Изд-во «Научно-технический центр», 2007. С. 77-88.
- Акопов Г.В.* Пространство, время и ментальный мир в поэзии Дж.Г. Байрона // Реалии современной практики преподавания дисциплин филологического цикла и перспективы развития методической мысли: Материалы Междунар. науч.-практ. заоч. конф., посвященной юбилею проф. Е.П.Прониной (апрель-октябрь 2008г.). Самара, 2008. С. 14–18.
- Акопов Г.В.* «Психология сознания. Вопросы методологии, теории и прикладных исследований». – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010.
- Акопов Г.В., Буранок Н.А.* Неизмеримость гения: пространство, время и духовный мир в поэзии М.Ю. Лермонтова // Психология искусства. Т. 1. Самара, 2001. С. 70–76.
- Акопов Г.В., Иванова Т.В.* Феномен ментальности как проблема сознания. / Психологический журнал. Т.24. №1. М., 2003, с. 47-55.
- Аксаков И.С.* Речь о А.С. Пушкине // Литературная критика. М., 1981.
- Андреева Г.М.* Социальная психология сегодня: поиски и размышления. М., 2009.

- Андронников И.* Образ Лермонтова // *Лермонтов М.Ю.* Соч. В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 5–18.
- Анненков П.В.* Литературные воспоминания. Л., Изд-во «Academia», 1928.
- Антология педагогической мысли: В 3 т. / Сост. Н.Н. Кузьмин. М.: Высш. шк., 1989
- Асмолов А.Г.* Культурно-историческая психология и конструирование миров. М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1996.
- Байрон Дж. Г.* Из переписки. Джону Мюррею, эсквайру (1821) // Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Общ. ред. А.С. Дмитриева. М., 1980. С. 318–324.
- Байрон Дж. Г.* Собр. соч. В 4 т. М., 1981.
- Бейлис В.А.* Теория ритуала в трудах Виктора Тэрнера // Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С.7-31.
- Белинский В.Г.* Взгляд на русскую литературу. М., 1983.
- Бердяев Н.А.* Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990а.
- Бердяев Н.А.* Судьба России. Опыт по психологии войны и национальности. М., 1990б.
- Брутян Г.* Очерк теории аргументации. Изд. АН Армении. Ереван, 1992.
- Брушлинский А.В.* Субъект: Мышление, учение, воображение. М., 1996.
- Брушлинский А.В.* Субъектно-деятельностная концепция и теория функциональных систем // Вопросы психологии. 1999. № 5. С. 110–121.
- Булгаков С.* Жребий Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1990.
- Вацуро В.* Художественная проблематика Лермонтова // *Лермонтов М.Ю.* Избр. соч. / Сост. В. Вацуро и И. Чистова. М., 1983. С. 5–34.
- Виноградов А.* Байрон. М., 1936.
- Виролайнен М.* Речь и молчание: сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003. С. 111–250.
- Волков Ю.Г.* Идеология гуманизма: диалог цивилизаций // Философские проблемы социального, политического, экономического развития: реалии современности. Ростов-на-Дону, 2013. С.18-34.

- Гершензон М.О.* Творческое самосознание // Вехи. Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. М., 1991.
- Голд Дж.* Психология и география: основы поведенческой географии. М., 1990.
- Горький М.* Рассказы. Пьесы. Мать. М., 1978.
- Григорьев А.А.* Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья 1 // Светлое имя Пушкин. М., 1988.
- Гуревич А.Я.* Социальная история и историческая наука // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 23–35.
- Гуревич А.Я.* Что есть время // Вопросы литературы. 1968. №11. С. 153–174.
- Демурова Н.* О переводах Байрона в России // Байрон Дж.Г. Избранное. На англ. яз. Изд. 2-е. М., 1979. С. 399–426.
- Добролюбов Н.А.* Литературная критика. В 2 т. М.: Худлит., 1984.
- Достоевский Ф.М.* Изыскания и размышления. М., 1983.
- Дубов И.Г.* Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы психологии. 1993. № 5. С. 20–29.
- Дьяконова Н.Я.* Лирическая поэзия Байрона. М., 1975.
- Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. В 2 т. М., 1987.
- Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б.* Психологические исследования экономического сознания личности и группы // Нравственно-психологическая регуляция экономической активности. М., 2003. С. 77–164.
- Зверев А.М.* Звезды падучей пламень: жизнь и поэзия Байрона. М., 1988.
- Зинченко В.П.* Живое знание. Самара, 1998.
- Зинченко В.П.* Сознание и творческий акт. М., 2010.
- Иванов С.А.* Византийское юродство. М., 1994
- Иванов В.Н., Назаров М.М.* Политическая ментальность: опыт и перспективы исследования // Социально-гуманитарные знания. 1998. № 2. С. 45–58.
- Ильин И.* Пророческое произведение Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 328–355.
- История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996.
- Киреевский И.В.* Критика и Эстетика. М., 1979.
- Ключевский В.О.* Литературные портреты. М., 1991.

- Коул М.* Культурно-историческая психология: наука будущего. М., 1997.
- Коул М., Скрибнер С.* Культура и мышление. М., 1977.
- Кроник А., Головаха Е.И.* Понятие психологического времени // Категории материалистической диалектики в психологии. М., 1988. С. 199–213.
- Кургинян М.* Джордж Байрон. Критико-биографический очерк. М., 1958.
- Кьеркегор С.* Страх и трепет. М., 1993.
- Левада Ю.* Жизнь сурова, но большинство требует продолжения реформы // Известия. 1992. 22 сентября.
- Лермонтовская энциклопедия* / Гл. ред. В.А.Мануйлов. М., 1981.
- Лихачев Д.С.* Музы не умирают... / Пушкинские места в России. М., 1984.
- Лосский И.О.* Условия абсолютного добра. М., 1991.
- Лотман Ю.М.* Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1981.
- Лурия А.Р.* Об историческом развитии познавательных процессов. М., 1974.
- Малявин В.В.* Язык сердца: Афоризм и китайская традиция // Афоризмы Старого Китая. М., 1988. С. 5–38.
- Мацумото Д.* Психология и культура. СПб., 2002. С. 272–273.
- Ментальность российской провинции. Сборник материалов IV Всероссийской конференции по исторической психологии российского сознания. 1-2 июля 2004г. Самара: Изд-во СГПУ (факультет психологии). 2005.
- Мережковский Д.С.* М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества // В Тихом омуте. М., 1991. С. 378–415.
- Молчанов В.И.* Исследования по феноменологии сознания. М., 2007.
- Назаретян А.П.* Насилие и ненасилие в исторической ретроспективе // Историческая психология и социология истории. № 1(1). – М., 2008. С.8-32.
- Обереги и заклинания русского народа. – М., 1993.
- Овсянко-Куликовский Д.Н.* Психология русской интеллигенции // Вехи. Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. М., 1991.
- Одиссей: человек в истории. Историк и время / Отв. ред. А.Я. Гуревич. М., 1992.

- Одиссей: человек в истории. Картина мира в народном и ученом сознании / Отв. ред. А.Я. Гуревич. М., 1994.
- Одиссей: человек в истории. Культурная история социального / Отв. ред. А.Я. Гуревич. М., 1997.
- Одиссей: человек в истории. Личность и общество / Отв. ред. А.Я. Гуревич. М., 1998.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1997.
- Островский А.Н.* О литературе и театре. М., 1986.
- Петренко В.Ф.* Психосемантические аспекты картины мира субъекта // Материалы I Всеросс.конф. «Психология сознания: современное состояние и перспективы» 29 июня – 1 июля 2007г. Самара: Изд-во «Научно-технический центр», 2007б. С. 240-250.
- Привалова В.М.* Орнамент. Восприятие, оценка, понимание. Монография. Самара: СамНЦ РАН – ПФ ИРИ РАН – СГПУ, 2007.
- Провинциальная ментальность России в прошлом и настоящем: Тез. докл. 1-й конф. по исторической психологии российского сознания. Самара: Изд-во СамГПИ, 1994.
- Прохоров А.О.* Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности. М.: ПЕР СЭ, 2005.
- Пушкин А.С. и Российское историко-культурное сознание. Материалы III Международной конференции по исторической психологии российского сознания «Провинциальная ментальность России в прошлом, настоящем и будущем» (17-19 мая 1999 года). Ежегодник Российского Психологического Общества. Самара, СамГПУ, 1999.
- Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 10 т. М.-Л., 1950.
- Решетников М.М.* Современная российская ментальность. М.: Российские вести, СПб.: Восточно-европейский институт психоанализа, 1996.
- Розанов В.* Пушкин и Лермонтов // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 191–193.
- Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики / Под ред. К.А. Абульхановой и др. М.: Российская академия наук, 1997.
- Российское сознание: психология, культура, политика // Провинциальная ментальность России в прошлом и будущем: Материалы 2-й

- Междунар. конф. по исторической психологии российского сознания. Самара, 1997.
- Российское сознание: психология, феноменология, культура: Межвуз. сб. науч. тр. Самара: Изд-во СамГПИ, 1994.
- Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986.
- Россия XVIII вв. глазами иностранцев. Л., 1989.
- Рулина Т.К.* Историческая психология. Самара, 2002.
- Свенцицкий А.Л.* Глобализация и стресс организационных изменений // Человеческий фактор: Социальный психолог, 2007. Вып. №1 (13). С.39-43.
- Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П.* Происхождение духовности. М., 1989.
- Словарь языка Пушкина. В 4 т. М., 1956–1961.
- Соловьев В.* Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Пушкин в русской философской критике: конец XIX – первая половина XX в. М., 1990. С. 41–91.
- Сонин В.А.* Вторая Всероссийская конференция по проблемам ментальности // Психологический журнал, №1, 1997.
- Страхов Н.Н.* А.С. Пушкин. Литературная критика. М., 1983.
- Сухарев А.В.* Некоторые аспекты введения методологического принципа этнофункционального единства микро- и макрокосма в психологию // Мир психологии, № 2, 2009. С. 200-209.
- Толстой Л.Н.* Исповедь. В чем моя вера. Л.: Худож. лит., 1990.
- Толстой Л.Н.* Не могу молчать. Сб произведений. М., 1985.
- Торжественный венок. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 1837–1999. М., 1999.
- Тургенев И.С.* Открытие памятника А.С. Пушкину в Москве // Статьи и воспоминания. М., 1981.
- Усманова Р.Ф.* Джордж Гордон Байрон // *Байрон Дж. Г.* Собр. соч. В 4 т. М., 1981. Т. 1. С. 3–47.
- Федотов Г.П.* Певец империи и свободы // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 356–375.
- Федотов Г.П.* Россия и свобода // Знамя. 1989. № 12. С. 205.
- Фельдштейн Д.И.* Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности // *Фельдштейн Д.И.* Избр. труды. М., 1999.
- Формирование и развитие профессионального сознания студентов: Межвуз. сб. науч. трудов. Самара. 1991.

- Франк С.* О задачах познания Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1990а. С. 422–452.
- Франк С.* Пушкин и духовный путь России // Пушкин в русской философской критике. М., 1990б. С. 494–497.
- Фрэзер Дж.* Золотая ветвь. М., 1984.
- Хайдеггер М.* Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 95–102.
- Хейзинга Й.* Homo Ludens. Игра и поэзия // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 69–94.
- Чижевский А.Л.* Земное эхо солнечных бурь. М., 1976.
- Шкуратов В.А.* Историческая психология на перекрестках человекознания // Одиссей: человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня / Отв. редактор А.Я. Гуревич. М., 1991. С. 103–114.
- Шкуратов В.А.* Историческая психология. М., 1997.
- Шкуратов В.А.* Психика. Культура. История: Введение в теоретико-методологические основы исторической психологии. Ростов-на-Дону, 1990.
- Эпштейн М.* Стихи и стихия. Природа в русской поэзии, XVIII–XX вв. Самара, 2007.
- Эткинд Е.Г.* Проза о стихах. СПб., 2001.
- Янагида К.* Философия истории. М., 1969.
- Ярушкин Н.Н.* Психологические механизмы социального поведения личности: монография. – Самара: ПГСГА, 2010.
- Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М., 1994.

ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА

Александр Сергеевич Пушкин
(1799 - 1837)

К ДРУГУ СТИХОТВОРЦУ

Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезей
И с строгой критикой вступаешь смело в бой!

Но что? ты хмуришься и отвечать готов;
«Пожалуй, – скажешь мне, – не трать излишних слов;
Когда на что решусь, уж я не отступаю,
И знай, мой жребий пал, я лиру избираю.
Пусть судит обо мне, как хочет, целый свет,
Сердись, кричи, бранись, – а я таки поэт».

Но полно рассуждать – боюсь тебе наскучить
И сатирическим пером тебя замучить.
Теперь, любезный друг, я дал тебе совет,
Оставишь ли свирель, умолкнешь или нет?..
Подумай обо всем и выбери любое:
Быть славным – хорошо, спокойным – лучше вдвое.

1814

БАТЮШКОВУ

В пещерах Геликона
Я некогда рожден;
Во имя Аполлона
Тибуллом окрещен,
И светлой Иппокреной
С издетства напоенный
Под кровом вешних роз,

Поэтом я возрос.

Веселый сын Эрмия
Ребенка полюбил,
В дни резвости златые
Мне дудку подарил.
Знакомясь с нею рано,
Дудил я непрестанно:
Нескладно хоть играл,
Но Музам не скучал.

А ты, певец забавы
И друг Пермесских дев,
Ты хочешь, чтобы, славы
Стезюю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.

Дано мне мало Фебом:
Охота, скудный дар.
Пою под чуждым небом,
Вдали домашних Лар,
И, с дерзостным Икаром
Страшась летать не даром,
Бреду своим путем:
Будь всякой при своем.

1815

ПРОЩАНЬЕ

Промчались годы заточенья;
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас света дальний шум,

И всякий смотрит на дорогу
С волнением гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул –
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде
И греться ходит в караул;
Иной, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным шутком зрит себя;
Лишь я, во всем судьбе послушный,
Беспечной лени верный сын,
К честям ничтожным равнодушный,
Я тихо задремал один.
Равны мне писари, уланы,
Равны наказ и кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассессора;
Друзья! немного снисхожденья –
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.

1817

* * *

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!

На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.

1817

ДОВОМУ

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой,
И скромную семью моей обитель!
Да не вредят полям опасный хлад дождей
И ветра позднего осенние набеги;
Да в пору благотворны снеги
Покроют влажный тук полей!
Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полунощного вора
И от недружеского взора
Счастливым домик охраняй!
Ходи вокруг его заботливым дозором,
Люби мой малый сад, и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров –
Они знакомы вдохновенью.

1819

ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
Я твой: я променял порочный двор цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в Истине блаженство находить,
Свободною душой Закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой Мольбе
И не завидовать судьбе
Злодея иль глупца — в величии неправом.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавам
Слышнее ваш отрадный глас.
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне,
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине.

1819

Мне вас не жаль, года весны моей,
Протекшие в мечтах любви напрасной,
Мне вас не жаль, о тайнства ночей,
Воспетые цевницей сладострастной,

Мне вас не жаль, неверные друзья,
Венки пиров и чаши круговые –
Мне вас не жаль, изменницы младые,–

Задумчивый, забав чуждаюсь я.

Но где же вы, минуты умиления,
Младых надежд, сердечной тишины?
Где прежний жар и слёзы вдохновенья?
Придите вновь, года моей весны!

1820

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец –
Живу печальный, одинокой,
И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один – на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!..

1821

ТЕЛЕГА ЖИЗНИ

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас: нам страшной
И косогоры и овраги:
Кричим: полегче, дуралей!

Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

1823

ПТИЧКА

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

1823

МОЁ БЕСПЕЧНОЕ НЕЗНАНЬЕ...

Мое беспечное незнанье
Лукавый демон возмутил,
И он мое существованье
С своим на век соединил.
Я стал взирать его глазами,
Мне жизни дался бедный клад,
С его неясными словами
Моя душа звучала в лад.
Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным?

Чего, мечтатель молодой,
Ты в нем искал, к чему стремился,
Кого восторженной душой
Боготворить не устыдился?
И взор я бросил на людей,
Увидел их надменных, низких,
Жестоких ветреных судей,
Глупцов, всегда злодейству близких.
Пред боязливой их толпой,
Жестоккой, суетной, холодной,
Смешон глас правды благородный,
Напрасен опыт вековой.
Вы правы, мудрые народы,
К чему свободы вольный клич!
Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь,
Наследство их из рода в роды -
Ярмо с гремушками да бич.

1823

К МОРИЮ

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,

Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиранный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминая величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:

Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещение иль тиран.
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красоты
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

1824

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ

Когда, любовью и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, —
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?

Ты никогда, мой друг, меня не забудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, всё на главу мою
Обрушилось вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилось! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моления
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

1825

БУРЯ

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,
Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым
И ветер бился и летал
С ее летучим покрывалом?
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

1825

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
"Встань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей".

1826

ПОЭТ

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;

Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

1827

СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

1830

ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

1830

МАДОННА

Не множеством картин старинных мастеров
Украстить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.

В простом углу моем, среди медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель -

Она с величием, он с разумом в очах -
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

1830

ЭЛЕГИЯ

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино - печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть - на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

1830

БЕСЫ

Мчатся тучи, выются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин .
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

"Эй, пошел, ямщик!" - "Нет мочи:
Коням, барин, тяжело,
Вьюга мне слипает очи,
Все дороги занесло;

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня,
Вон - теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной,
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой".

Мчатся тучи, выются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... "Что там в поле?" -
"Кто их знает? пень иль волк?"

Вьюга злится, вьюга плачет,
Кони чуткие храпят,
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их? куда их гонят?
Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

1830

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох в сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,

Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров -
А крик товарищей моих
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

1833

ПОРА, МОЙ ДРУГ, ПОРА!..

Пора, мой друг, пора! покоя сердца просит -
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь - как раз - умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля -
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

1834

**Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814-1841)**

ОСЕНЬ

Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою,
Уж не любит, меж цветов,
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
Зверь, отважный, поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл, и поле
Сквозь туман лишь серебрит.

1828

РУССКАЯ МЕЛОДИЯ

1
В уме своем я создал мир иной
И образов иных существованье;
Я цепью их связал между собой,
Я дал им вид, но не дал им названья:
Вдруг зимних бурь раздался грозный вой,-
И рушилось неверное созданье!..

2
Так перед праздною толпой
И с балалайкою народной
Сидит в тени певец простой
И бескорыстный, и свободный!..

3
Он громкий звук внезапно раздает,

В честь девы, милой сердцу и прекрасной,-
И звук внезапно струны оборвет,
И слышится начало песни!- но напрасно!-
Никто конца ее не допоет!..

1829

МОЛИТВА

Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя,
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь.

Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пуškai, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.

1829

К ***

Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,

Хотя теперь слова мои печальны;- нет;
Нет! все мои жестокие мученья -
Одно предчувствие гораздо больших бед.

Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел:
У нас одна душа, одни и те же муки;
О, если б одинаков был удел!..

Как он, ищу забвенья и свободы,
Как он, в ребячестве пылал уж я душой,
Любил закат в горах, пенящиеся воды
И бурь земных и бурь небесных вой.

Как он, ищу спокойствия напрасно,
Гоним повсюду мыслию одной.
Гляжу назад - прошедшее ужасно;
Гляжу вперед - там нет души родной!

1830

30 ИЮЛЯ. - (ПАРИЖ.) 1830 ГОДА

Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел. - Ты полагал
Народ унижить под ярмом. -
Но ты французов не узнал! -
Есть суд земной и для царей. -
Провозгласил он твой конец; -
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец. -

И загорелся страшный бой;
И знамя вольности как дух
Идет пред гордою толпой. -
И звук один наполнил слух;
И брызнула в Париже кровь. -
О! чем заплотишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,

За кровь людей, за кровь граждан.

Когда последняя труба
Разрежет звуком синий свод;
Когда откроются гроба,
И прах свой прежний вид возьмет;

Когда появятся весы,
И их подымет судия.....
Не встанут у тебя волосы?
Не задрожит рука твоя?.....

Глупец! что будешь ты в тот день,
Коль ныне стыд уж над тобой? -
Предмет насмешек ада, тень,
Призрак обманутый судьбой!
Бессмертной раною убит,
Ты обернешь молящий взгляд,
И строй кровавый закричит:
Он виноват! он виноват!

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно;
Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
Но мы знаем, какое оно.

О надеждах и муках былых вспоминать
В нас тайная склонность кипит;
Нас тревожит неверность надежды земной,
А краткость печали смешит.

Страшна в настоящем бывает душе
Грядущего темная даль;
Мы блаженство желали б вкусить в небесах,
Но с миром расстаться нам жаль.

Что во власти у нас, то приятнее нам,
Хоть мы ищем другого порой,
Но в час расставанья мы видим ясней,
Как оно породнилось с душой.

1830-1831

МОЙ ДОМ

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.

До самых звезд он кровлей достигает
И от одной стены к другой
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой,

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно.

И всемогущим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нём
И в нём лишь буду я спокоен.

1830-1831

ЗВУКИ

Что за звуки! неподвижен внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.
Всемогущий! что за звуки! жадно
Сердце ловит их,
Как в пустыне путник безотрадной

Каплю вод живых!
И в душе опять они рождают
Сны веселых лет
И в одежду жизни одевают
Все, чего уж нет.
Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне;
Мнится, слышу тихий плач разлуки,
И душа в огне.
И опять безумно упиваюсь
Ядом прежних дней
И опять я в мыслях полагаюсь
На слова людей.

1830-1831

* * *

Кто в утро зимнее, когда валит
Пушистый снег, и красная заря
На степь седую с трепетом глядит,
Внимал колоколам монастыря;
В борьбе с порывным ветром, этот
звон
Далеко им по небу унесён, -
И путникам он нравился не раз,
Как весть кончины иль бессмертья
глас. -

И этот звон люблю я! - он цветок
Могильного кургана, мавзолеей,
Который не изменится; ни рок,
Ни мелкие несчастья людей
Его не заглушат; всегда один,
Высокой башни мрачный властелин,
Он возвещает миру все, но сам -
Сам чужд всему, земле и небесам.

1831

* * *

Пусть я кого-нибудь люблю:
Любовь не красит жизнь мою.
Она как чумное пятно
На сердце, жжёт, хотя темно;
Враждебной силою гоним
Я тем живу, что смерть другим:
Живу - как неба властелин -
В прекрасном мире - но один.

1831

* * *

Я не для ангелов и рая
Всесильным богом сотворен;
Но для чего живу страдая,
Про это больше знает он. -

Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой;

Прочти, мою с его судьбою
Воспоминанием сравни,
И верь безжалостной душою,
Что мы на свете с ним одни.

1831

* * *

Люблю я цепи синих гор,
Когда, как южный метеор,
Ярка без света, и красна
Всплывает из-за них луна,
Царица лучших дум певца,

И лучший перл того венца,
Которым свод небес порой
Гордится будто царь земной.
На западе вечерний луч
Еще горит на ребрах туч
И уступить все медлит он
Луне - угрюмый небосклон;
Но скоро гаснет луч зари....
Высоко месяц. Две иль три
Младые тучки окружают
Его сейчас... вот весь наряд,
Которым белое чело
Ему убрать позволено. -
Кто не знал таких ночей
В ущельях гор, иль средь степей?
Однажды при такой луне
Я мчался на лихом коне,
В пространстве голубых долин,
Как ветер, волен и один;
Туманный месяц и меня,
И гриву, и хребет коня
Сребристым блеском осыпал;
Я чувствовал, как конь дышал,
Как он, ударивши ногой,
Отбрасываем был землей;
И я в чудесном забытии
Движенья сковывал свои,
И с ним себя желал я слить,
Чтоб этим бег наш ускорить;
И долго так мой конь летел.....
И вокруг себя я поглядел:
Все та же степь, все та ж луна:
Свой взор ко мне склонив, она,
Казалось, упрекала в том,
Что человек с своим конем
Хотел владычество степей
В ту ночь оспаривать у ней! -...

1832

* * *

Синие горы Кавказа, приветствую вас!
вы взлелеяли детство мое;
вы носили меня на своих одичалых хребтах,
облаками меня одевали,
вы к небу меня приучили,
и я с той поры все мечтаю об вас да о небе.
Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи,
кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился,
тот жизнь презирает,
хотя в то мгновенье гордился он ею!..

Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов;
они так сияли в лучах восходящего солнца,
и в розовый блеск одеваясь, они,
между тем как внизу все темно,
возвещали прохожему утро.
И розовый цвет их подобился цвету стыда:
как будто девицы,
когда вдруг увидят мужчину купаясь,
в таком уж смущении,
что белой одежды накинуть на грудь не успеют.

Как я любил твои бури, Кавказ!
те пустынные громкие бури,
которым пещеры как стражи ночей отвечают!...
На гладком холме одинокое дерево,
ветром, дождями нагнутое,
иль виноградник, шумящий в ущелье,
и путь неизвестный над пропастью,
где, покрываясь пеной,
бежит безымянная речка,
и выстрел неожиданный,
и страх после выстрела:
враг ли коварный иль просто охотник...
все, все в этом крае прекрасно.

Воздух там чист, как молитва ребенка;
И люди как вольные птицы живут беззаботно;
Война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит.
В дымной сакле, землей иль сухим тростником
Покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружие,
И шьют серебром - в тишине увядая
Душою - желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой.

1832

* * *

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я - или бог - или никто!

1832

* * *

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.

Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.

1832

УМИРАЮЩИЙ ГЛАДИАТОР

I see before me the gladiator lie...

Byron.

Я вижу пред собой лежащего гладиатора...

Байрон (англ.).

Ликует буйный Рим..... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена:
А он - пронзенный в грудь - безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена.....
И молит жалости напрасно мутный взор:
Надменный временщик и льстец его сенатор
Венчают похвалой победу и позор.....
Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
Он презрен и забыт..... освистанный актер.

И кровь его течет - последние мгновенья
Мелькают, - близок час.... вот луч воображенья
Сверкнул в его душе... пред ним шумит Дунай...
И родина цветет.... свободный жизни край;
Он видит круг семьи, оставленный для брани,
Отца, простершего немеющие длани,
Зовущего к себе опоры дряхлых дней.....
Детей играющих - возлюбленных детей.
Все ждут его назад с добычею и славой...
Напрасно - жалкий раб, - он пал, как зверь лесной,
Бесчувственной толпы минутною забавой....
Прости, развратный Рим, - прости, о край родной....
Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,

Без веры, без надежд - игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!

И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещенья,
Для гордой роскоши беспечно ты забыл:
Стараясь заглушить последние страданья,
Ты жадно слушаешь и песни старины,
И рыцарских времен волшебные преданья -
Насмешливых льстецов несбыточные сны.

1836

* * *

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И как преступник перед казнью
Ищу кругом души родной;
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать - что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла;
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя;
Как ранний плод, лишенный сока
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

1837

НЕ ВЕРЬ СЕБЕ

Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?

*A. Barbier*²

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы бойся вдохновенья...
Оно — тяжелый бред души твоей больной,
Иль пленной мысли раздраженье.
В нем признака небес напрасно не ищи:
— То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Отрыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный, —
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.

Закрадется ль печаль в тайник души твоей,
Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой,
Не выходи тогда на шумный пир людей
С своею бешеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать

² Какое нам, в конце концов, дело до грубого крика всех этих горлающих шарлатанов, продавцов пафоса и мастеров напыщенности и всех плясунов, танцующих на фразе? *О. Барбье. (Франц.). — Ред.*

То гневом, то тоской послушной,
И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной.

Какое дело нам, страдал ты или нет?
На что́ нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.

А между тем из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,

С своим напевом заучённым,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным...

1839

РОДИНА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю - за что не знаю сам? -
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее подобные морям....

Просёлочным путем люблю скакать в телеге,
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;

Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз,
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой многим неизвестной
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;

И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

1841

СОН

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснились кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня - но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

1941

* * *

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.

1841

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

"Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!"

1841

Джордж Гордон Байрон
(1788 - 1824)

ПРИ ОТЪЕЗДЕ ИЗ НЬЮСТЕДСКОГО АББАТСТВА

Ньюстед! Ветром пронизана замка ограда,
Разрушеньем объята обитель отцов.
Гибнут розы когда-то веселого сада,
Где разросся безжалостный болиголов.

Воет ветер; трещит от любого порыва
Щит с гербом, говорящий в унынии нам
О баронах в броне, что вели горделиво
Из Европы войска к палестинским пескам.

Роберт сердца мне песней не жжет раскаленной,
Арфой он боевого не славит венка,
Джон зарыт у далеких твердынь Аскалона,
Струн не трогает мертвого барда рука.

Спят в долине Креси Поль и Губерт в могиле,
Кровь за Англию и Эдуарда пролив.
Слезы родины предков моих воскресили;
Подвиг их в летописном предании жив.

Вместе с Рупертом в битве при Марстоне братья
Бились против мятежников - за короля.
Смерть скрепила их верность монарху печатью,
Напоила их кровью пустые поля.

Тени предков! Потомок прощается с вами,
Покидает он кров родового гнезда.
Где б он ни был - на родине и за морями
Вспоминать вашу доблесть он будет всегда.

Пусть глаза отуманила грусть расставанья,
Это - не малодушье, а прошлого зев.

Уезжает он вдаль, но огонь состязанья
Зажигает в нем гордая слава отцов.

Вашей храбрости, предки, он будет достоин,
В сердце память о ваших делах сохранит;
Он, как вы, будет жить и погибнет, как воин,
И посмертная слава его осенит.

1803

ЭЛЕГИЯ НА НЬЮСТЕДСКОЕ АББАТСТВО

*Это голос тех лет, что прошли; они
стремятся предо мной со всеми своими
деяниями.*

Оссиан

Полуупавший, прежде пышный храм!
Алтарь святой! монарха покаянье!
Гробница рыцарей, монахов, дам,
Чьи тени бродят здесь в ночном сиянье.

Твои зубцы приветствую, Ньюстед!
Прекрасней ты, чем зданья жизни новой,
И своды зал твоих на ярость лет
Глядят с презреньем, гордо и сурово.

Верны вождям, с крестами на плечах,
Здесь не толпятся латники рядами,
Не шумят беспечно на пирах, -
Бессмертный сонм! - за круглыми столами!

Волшебный взор мечты, в дали веков,
Увидел бы движенье их дружины,
В которой каждый - умереть готов
И, как паломник, жаждет Палестины.

Но нет! не здесь отчизна тех вождей,
Не здесь лежат их земли родовые:

В тебе скрывались от дневных лучей,
Ища спокойствия, сердца больные.

Отвергнув мир, молился здесь монах
В угрюмой келье, под покровом тени,
Кровавый грех здесь прятал тайный страх,
Невинность шла сюда от притеснений.

Король тебя воздвиг в краю глухом,
Где шервудцы блуждали, словно звери,
И вот в тебе, под черным клобуком,
Нашли спасенье жертвы суеверий.

Где, влажный плащ над перстью неживой,
Теперь трава струит росу в печали,
Там иноки, свершая подвиг свой,
Лишь для молитвы голос возвышали.

Где свой неверный лет нетопыри
Теперь стремят сквозь сумраки ночные,
Вечерню хор гласил в часы зари,
Иль утренний канон святой Марии!

Года сменяли годы, век - века,
Аббат - аббата; мирно жило братство.
Его хранила веры сень, пока
Король не посягнул на святотатство.

Был храм воздвигнут Генрихом святым,
Чтоб жили там отшельники в покое.
Но дар был отнят Генрихом другим,
И смолкло веры пение святое.

Напрасны просьбы и слова угроз,
Он гонит их от старого порога
Блуждать по миру, средь житейских гроз,
Без друга, без приюта, - кроме Бога!

Чу! своды зал твоих, в ответ звуча,
На зов военной музыки трепещут,
И, вестники владычества меча,
Высоко на стенах знамена плещут.

Шаг часового, смены гул глухой,
Веселье пира, звон кольчуги бранной,
Гуденье труб и барабанов бой
Слились в напев тревоги беспрестанной.

Аббатство прежде, ныне крепость ты,
Окружена кольцом полков неверных.
Войны орудья с грозной высоты
Нависли, гибель сея в ливнях серных.

Напрасно все! Пусть враг не раз отбит, -
Перед коварством уступает смелый,
Защитников - мятежный сонм теснит,
Развив над ними стяг свой закоптелый.

Не без борьбы сдается им барон,
Тела врагов пятнают дол кровавый;
Непобежденный меч сжимает он.
И есть еще пред ним дни новой славы.

Когда герой уже готов снести
Свой новый лавр в желанную могилу, -
Слетает добрый гений, чтоб спасти
Монарху - друга, упованье, силу!

Влечет из сеч неравных, чтоб опять
В иных полях отбил он приступ злобный,
Чтоб он повел к достойным битвам рать,
В которой пал Фалкланд богоподобный.

Ты, бедный замок, предан грабежам!
Как реквием звучат сраженных стоны,
До неба всходит новый фимиам

И кроют груды жертв дол обгаренный.

Как призраки, чудовищны, бледны,
Лежат убитые в траве священной.
Где всадники и кони сплетены,
Грабителей блуждает полк презренный.

Истлевший прах исторгнут из гробов,
Давно травой, густой и шумной, скрытых:
Не пощадят покоя мертвецов
Разбойники, ища богатств зарытых.

Замолкла арфа, голос лиры стих,
Вовек рукой не двинет минстрель бледный,
Он не зажжет дрожащих струн своих,
Он не споет, как славен лавр победный.

Шум боя смолк. Убийцы, наконец,
Ушли, добычей сыты в полной мере.
Молчанье вновь надело свой венец,
И черный Ужас охраняет двери.

Здесь Разорение содержит мрачный двор,
И что за челядь славит власть царицы!
Слетаясь спать в покинутый собор,
Зловещий гимн кричат ночные птицы.

Но вот исчез анархии туман
В лучах зари с родного небосвода,
И в ад, ему родимый, пал тиран,
И смерть злодея празднует природа.

Гроза приветствует предсмертный стон,
Встречает вихрь последнее дыханье,
Приняв постыдный гроб, что ей вручен,
Сама земля дрожит в негодованье.

Законный кормчий снова у руля

И челн страны ведет в спокойном море.
Вражды утихшей раны исцеля,
Надежда вновь бодрит улыбкой горе.

Из разоренных гнезд, крича, летят
Жильцы, занявшие пустые кельи.
Опять свой лен приняв, владелец рад;
За днями горести - полней веселье!

Вассалов сонм в приветливых стенах
Пирует вновь, встречая господина.
Забыли женщины тоску и страх,
Посевом пышно убрана долина.

Разносит эхо песни вдоль дорог,
Листвой богатой бор веселый пышен.
И чу! в полях взывает звонкий рог,
И окрик ловчего по ветру слышен.

Луга под топотом дрожат весь день...
О, сколько страхов! радостей! заботы!
Спасенья ищет в озере олень...
И славит громкий крик конец охоты!

Счастливым век, ты долгим быть не мог,
Когда лишь травля дедов забавляла!
Они, презрев блистательный порок,
Веселья много знали, горя - мало!

Отца сменяет сын. День ото дня
Всем Смерть грозит неумолимой дланью.
Уж новый всадник горячит коня,
Толпа другая гонится за ланью.

Ньюстед! как грустны ныне дни твои!
Как вид твоих раскрытых сводов страшен!
Юнейший и последний из семьи
Теперь владетель этих старых башен.

Он видит ветхость серых стен твоих,
Глядит на кельи, где гуляют грозы,
На славные гробницы дней былых,
Глядит на все, глядит, чтоб лились слезы!

Но слезы те не жалость будит в нем:
Исторгло их из сердца уваженье!
Любовь, Надежда, Гордость - как огнем,
Сжигают грудь и не дают забвенья.

Ты для него дороже всех дворцов
И гротов прихотливых. Одинок
Бродя меж мшистых плит твоих гробов,
Не хочет он роптать на волю Рока.

Сквозь тучи может солнце просиять,
Тебя зажечь лучом полдневным снова.
Час славы может стать твоим опять,
Грядущий день - сравняться с днем былого!

1806

ХОЧУ Я БЫТЬ РЕБЕНКОМ ВОЛЬНЫМ...

Хочу я быть ребенком вольным
И снова жить в родных горах,
Скитаться по лесам раздольным,
Качаться на морских волнах.
Не сжиться мне душой свободной
С саксонской пышной суетой!
Милее мне над зыбью водной
Утес, в который бьет прибой!

Судьба! возьми назад щедроты
И титул, что в веках звучит!
Жить меж рабов - мне нет охоты,
Их руки пожимать - мне стыд!
Верни мне край мой одичалый,

Где знал я грезы ранних лет,
Где реву Океана скалы
Шлют свой бестрепетный ответ!

О! Я не стар! Но мир, бесспорно,
Был сотворен не для меня!
Зачем же скрыты тенью черной
Приметы рокового дня?
Мне прежде снился сон прекрасный,
Виденье дивной красоты...
Действительность! ты речью властной
Разогнала мои мечты.

Кто был мой друг - в краю далеком,
Кого любил - тех нет со мной.
Уныло в сердце одиноком,
Когда надежд исчезнет рой!
Порой над чашами веселья
Забудусь я на краткий срок...
Но что мгновенный бред похмелья!
Я сердцем, сердцем - одинок!

Как глупо слушать рассужденья -
О, не друзей и не врагов! -
Тех, кто по прихоти рожденья
Стал сотоварищем пиров.
Верните мне друзей заветных,
Деливших трепет юных дум,
И брошу оргий дорассветных
Я блеск пустой и праздный шум.

А женщины? Тебя считал я
Надеждой, утешеньем, всем!
Каким же мертвым камнем стал я,
Когда твой лик для сердца нем!
Дары судьбы, ее пристрастья,
Весь этот праздник без конца
Я отдал бы за каплю счастья,

Что знают чистые сердца!

Я изнемог от мук веселья,
Мне ненавистен род людской,
И жаждет грудь моя ущелья,
Где мгла нависнет, над душой!
Когда б я мог, расправив крылья,
Как голубь к радостям гнезда,
Умчаться в небо без усилья
Прочь, прочь от жизни - навсегда!

1806

ПРИ ВИДЕ ИЗДАЛИ ДЕРЕВНИ И ШКОЛЫ В ГАРРОУ-НА-ХОЛМЕ

О, если бы Юпитер вернул мне
ушедшие годы!

Вергилий

О детства картины! С любовью и мукой
Вас вижу, и с нынешним горько сравнить
Былое! Здесь ум озарился наукой,
Здесь дружба зажглась, чтоб недолгою быть;

Здесь образы ваши мне вызвать приятно,
Товарищи-друзи веселья и бед;
Здесь память о вас восстает благодатно
И в сердце живет, хоть надежды уж нет.

Вот горы, где спортом мы тешились славно,
Река, где мы плавали, луг, где дрались;
Вот школа, куда колокольчик исправно
Сзывал нас, чтоб вновь мы за книжки взялись.

Вот место, где я, по часам размышляя,
На камне могильном сидел вечерком;

Вот горка, где я, вокруг погоста гуляя,
Следил за прощальным заката лучом.

Вот вновь эта зала, народом обильна,
Где я, в роли Занги, Алонзо топтал,
Где хлопали мне так усердно, так сильно,
Что Моссопа славу затмить я мечтал.

Здесь бешенный Лир, дочерей проклиная,
Гремел я, утратив рассудок и трон;
И горд был, в своем самомнении мечтая,
Что Гаррик великий во мне повторен.

Сны юности, как мне вас жаль! Вы бесценны!
Увянет ли память о милых годах?
Покинут я, грустен; но вы незабвенны:
Пусть радости ваши цветут хоть в мечтах.

Я памятью к Иде взываю все чаще;
Пусть тени грядущего Рок развернет –
Темно впереди; но тем ярче, тем слаще
Луч прошлого в сердце печальном блеснет.

Но если б среди лет, уносящих стремленьем,
Рок новую радость узнать мне судил, –
Ее испытав, я скажу с умиленьем:
«Так было в те дни, как ребенком я был».

1806

ВОСПОМИНАНИЕ

Конец! Все было только сном.
Нет света в будущем моем.
Где счастье, где очарованье?
Дрожу под ветром злой зимы,
Рассвет мой скрыт за тучей тьмы,

Ушли любовь, надежд сиянье...
О, если б и воспоминанье!

1806

СТРОКИ, АДРЕСОВАННЫЕ ПРЕПОДОБНОМУ БИЧЕРУ, В ОТВЕТ НА ЕГО СОВЕТ ЧАЩЕ БЫВАТЬ В ОБЩЕСТВЕ

Милый Бичер, вы дали мне мудрый совет:
Приобщиться душою к людским интересам.
Но, по мне, одиночество лучше, а свет
Предоставим презренным повесам.

Если подвиг военный меня увлечет
Или к службе в сенате родится призванье,
Я, быть может, сумею возвысить свой род
После детской поры испытанья.

Пламя гор тихо тлеет подобно костру,
Тайно скрытое в недрах курящейся Этны;
Но вскипевшая лава взрывает кору,
Перед ней все препятствия тщетны.

Так желание славы волнует меня:
Пусть всей жизнью моей вдохновляются внуки!
Если б мог я, как феникс, взлететь из огня,
Я бы принял и смертные муки.

Я бы боль, и нужду, и опасность презрел -
Жить бы только - как Фокс; умереть бы -
как Чэтам,
Длится славная жизнь, ей и смерть не предел:
Блещет слава немеркнущим светом.

Для чего мне сходиться со светской толпой,
Раболепствовать перед ее главарями,
Льстить хлыщам, восторгаться нелепой молвой
Или дружбу водить с дураками?

Я и сладость и горечь любви пережил,
Исповедовал дружбу ревниво и верно;
Осудила молва мой неистовый пыл,
Да и дружба порой лицемерна.

Что богатство? Оно превращается в пар
По капризу судьбы или волей тирана.
Что мне титул? Тень власти, утеха для бар.
Только слава одна мне желанна.

Не силен я в притворстве, во лжи не хитер,
Лицемерия света я чужд от природы.
Для чего мне сносить ненавистный надзор,
По-пустому растрачивать годы?

1806

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ ЛЮБВИ

А барбитон струнами
Звучит мне про Эроса.
Анакреон

Мне сладких обманов романа не надо,
Прочь вымысел! Тщетно души не волнуй!
О, дайте мне луч упоенного взгляда
И первый стыдливый любви поцелуй!

Поэт, воспевающий рощу и поле!
Спеши, - вдохновенье свое уврачуй!
Стихи твои хлынут потоком на воле,
Лишь вкусишь ты первый любви поцелуй!

Не бойся, что Феб отвратит свои взоры,
О помощи муз не жалея, не тоскуй.
Что Феб музагет! что парнасские хоры!
Заменит их первый любви поцелуй!

Не надо мне мертвых созданий искусства!

О, свет лицемерный, кляни и ликуй!
Я жду вдохновенья, где вырвалось чувство,
Где слышится первый любви поцелуй!

Создания мечты, где пастушки тоскуют,
Где дремлют стада у задумчивых струй,
Быть может, пленят, но души не взволнуют, -
Дороже мне первый любви поцелуй!

О, кто говорит: человек, искупая
Грех праотца, вечно рыдай и горюй!
Нет! цел уголок недоступного рая:
Он там, где есть первый любви поцелуй!

Пусть старость мне кровь беспощадно остудит,
Ты, память бывшего, мне сердце чаруй!
И лучшим сокровищем памяти будет -
Он - первый стыдливый любви поцелуй!

23 декабря 1806

СЕРДОЛИК

Не блеском мил мне сердолик!
Один лишь раз сверкал он, ярк,
И рдеет скромно, словно лик
Того, кто мне вручил подарок.

Но пусть смеются надо мной,
За дружбу подчинюсь злословью:
Люблю я все же дар простой
За то, что он вручен с любовью!

Тот, кто дарил, потупил взор,
Боясь, что дара не приму я,
Но я сказал, что с этих пор
Его до смерти сохраню я!

И я залог любви поднес

К очам - и луч блеснул на камне,
Как блещет он на каплях рос...
И с этих пор слеза мила мне!

Мой друг! Хвалиться ты не мог
Богатством или знатной долей, -
Но дружбы истинной цветок
Взрастает не в садах, а в поле!

Ах, не глухих теплиц цветы
Благоуханны и красивы,
Есть больше дикой красоты
В цветах лугов, в цветах вдоль нивы!

И если б не была слепой
Фортуна, если б помогала
Она природе - пред тобой
Она дары бы расточала.

А если б взор ее прозрел
И глубь души твоей смиренной,
Ты получил бы мир в удел,
Затем что стоишь ты вселенной!

1806

К МУЗЕ ВЫМЫСЛА

Царица снов и детской сказки,
Ребяческих веселий мать,
Привыкшая в воздушной пляске
Детей послушных увлекать!
Я чужд твоих очарований,
Я цепи юности разбил,
Страну волшебную мечтаний
На царство Истины сменил!

Проститься нелегко со снами,
Где жил я девственной душой,

Где нимфы мнятся божествами,
А взгляды их - как луч святой!
Где властвует Воображенье,
Все в краски дивные одев.
В улыбках женщин - нет уменья
И пустоты - в тщеславье дев!

Но знаю: ты лишь имя! Надо
Сойти из облачных дворцов,
Не верить в друга, как в Пилада,
Не видеть в женщинах богов!
Признать, что чужд мне луч небесный,
Где эльфы водят легкий круг,
Что девы лживы, как прелестны,
Что занят лишь собой наш друг.

Стыжусь, с раскаяньем правдивым,
Что прежде чтил твой скиптр из роз.
Я ныне глух к твоим призывам
И не парю на крыльях грез!
Глупец! Любил я взор блестящий
И думал: правда скрыта там!
Ловил я вздох мимолетающий
И верил деланным слезам.

Наскучив этой ложью черствой,
Твой пышный покидаю трон.
В твоём дворце царит Притворство,
И в нём Чувствительность - закон!
Она способна вылить море -
Над вымыслами - слез пустых,
Забыв действительное горе,
Рыдать у алтарей твоих!

Сочувствие, в одежде черной
И кипарисом убрано,
С тобой пусть плачет непритворно,
За всех кровь сердца льет оно!

Зови поплакать над утратой
Дриад: их пастушок ушел.
Как вы, и он пылал когда-то,
Теперь же презрел твой престол.

О нимфы! вы без затрудненья
Готовы плакать обо всем,
Гореть в порывах исступленья
Воображаемым огнем!
Оплачете ль меня печально,
Покинувшего милый круг?
Не вправе ль песни ждать прощальной
Я, юный бард, ваш бывший друг?

Чу! близятся мгновенья рока...
Прощай, прощай, беспечный род!
Я вижу пропасть недалеко,
В которой вас погибель ждет.
Вас властно гонит вихрь унылый,
Шумит забвения вода,
И вы с царицей легкокрылой
Должны погибнуть навсегда.

1806

К ВРЕМЕНИ

О Время! Все несется мимо,
Все мчится на крылах твоих:
Мелькают весны, медлят зимы,
Гоня к могиле всех живых.

Меня ты наделило, Время,
Судьбой нелегкою - а все ж
Гораздо легче жизни бремя,
Когда один его несешь!

Я тяжелой доли не пугаюсь
С тех пор, как обрели покой

Все те, чье сердце, надрываясь,
Делило б горести со мной.

Да будет мир и радость с ними!
А ты рази меня и бей!
Что дашь ты мне и что отнимешь?
Лишь годы, полные скорбей!

Удел мучительный смягчает
Твоей жестокой власти гнет:
Одни счастливы замечают,
Как твой стремителен полет!

Пусть быстротечности сознанье
Над нами тучею висит:
Оно темнит весны сиянье,
Но скорби ночь не омрачит!

Как ни темно и скорбно было
Вокруг меня - мой ум и взор
Ласкало дальнее светило,
Стихии тьмы наперекор.

Но луч погас - и Время стало
Пустым мельканьем дней и лет:
Я только роль твержу устало,
В которой смысла больше нет!

Но заключительную сцену
И ты не в силах изменить:
Лишь тех, кто нам придет на смену,
Ты будешь мучить и казнить!

И, не страшась жестокой кары,
С усмешкой гнев предвижу твой,
Когда обрушишь ты удары
На хладный камень гробовой!

1812

Научное издание

Сознание и время:
апология ментальности
и поэтического сознания
(Издание 2-е исправленное и дополненное)

Акопов Гарник Владимирович – доктор психологических наук, профессор, действительный член Международной академии психологических наук и Международной академии акмеологических наук, почетный работник высшего профессионального образования, член Президиума Российского Психологического Общества, председатель Самарского Регионального Отделения РПО, сопредседатель Самарского отделения Российской психотерапевтической лиги, заслуженный деятель науки Российской Федерации, зав. кафедрой социальной психологии, декан факультета психологии Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

443099, г.Самара, ул. М.Горького, 65/67,
факультет психологии ПГСГА;
(846)332-00-67, e-mail: info-psy@rambler.ru

Компьютерная верстка Беркалиевой А.В.

Подписано в печать 05.04.2013 г.
Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Объем - 11 усл.печ.ед.
Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано в типографии ООО «Издательство ВЕК#21»
443099, г.Самара, ул.Чапаевская, 69а
Тел./факс: 8(846)332-83-73
Издательская лицензия – ИД 03840 от 25 января 2004 г.